

*Женская библиотека*

ЖОРЖ СИМЕНОН

# Мыслью следователю

Романы о любви



СЕВЕРО-ЗАПАД

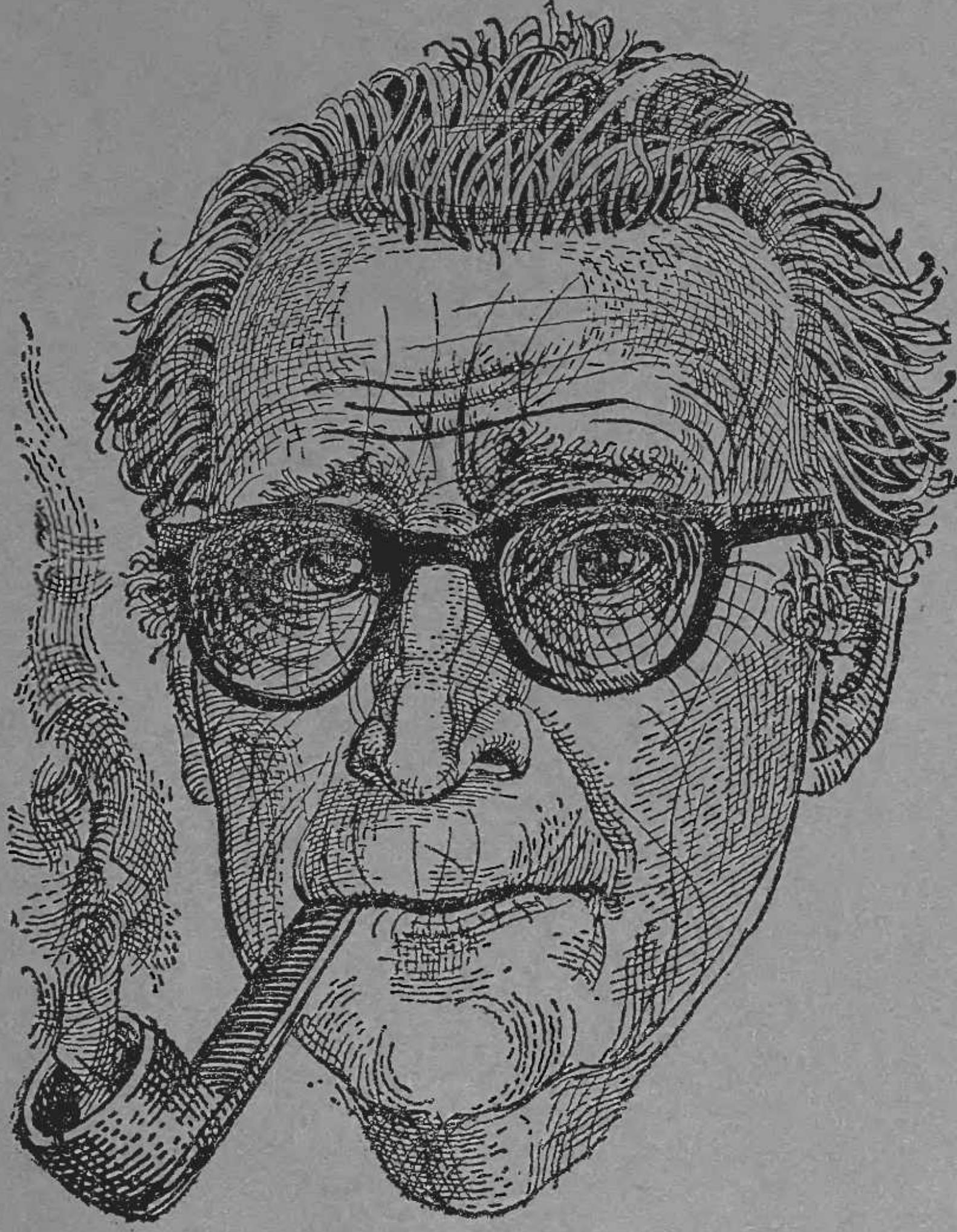
Вряд ли стоит представлять читателю Жоржа Сименона — создателя знаменитого Мегрэ. Мы хотим познакомить вас с другим Сименоном, который писал о любви. Конечно, содержание включенных в сборник романов не сводится к любовной интриге. И «Правда о Беби Донж» (1942), и «Письмо следователю» (1947), и «Большой Боб» (1954) — произведения многоплановые, перед нами проходит калейдоскоп сложных человеческих судеб. Мимолетны счастливые минуты героев этих романов. Часто, стремясь друг к другу, они друг друга не понимают, и светлое чувство оборачивается трагедией, мукой, преступлением. Таков Сименон, не веривший в постоянство счастья.

---

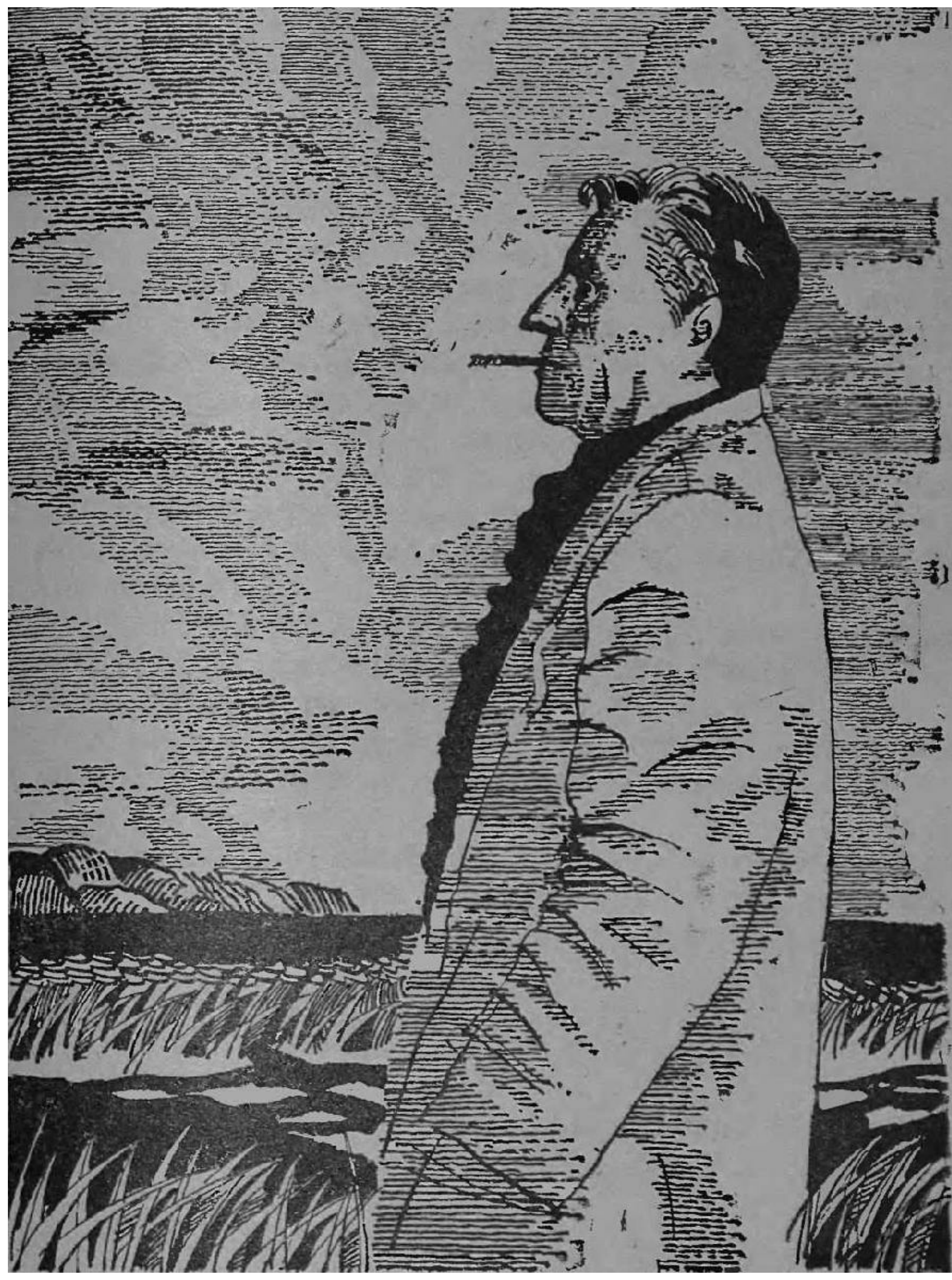
---

- [Жорж Сименон](#)
    - 
    - 
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
    - [Жорж Сименон](#)
    -
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
    - [8](#)
    - [9](#)
- 
-

**Жорж Сименон**  
**Большой Боб**







В это воскресенье я не был в Тийи: воспользовавшись тем, что дети у бабушки, мы с женой приняли приглашение наших друзей провести уик-энд у них на даче, которая расположена на окраине леса Рамбуйе. День был жаркий, парило, несколько раз собиралась гроза, и под вечер даже покапало.

Точно не помню, но, должно быть, в понедельник утром я дома просмотрел газету, и если не заметил сообщения о Дандюране, то лишь потому, что в рубрике происшествий оно занимало не больше трех-четырех строчек.

Шел уже одиннадцатый час, я принимал пациентку у себя в кабинете, и тут позвонила Люлю.

— Шарль, это вы?

Я не сразу узнал ее голос, хотя он мне хорошо знаком. Люлю, не дожидаясь ответа, сообщила:

— Боб погиб.

Теперь я уже знал, кто говорит. Но известие было настолько неожиданным, так ошеломило меня, что я нахмурил брови и спросил, словно стараясь выиграть время:

— Люлю, вы?

Но сразу же взял себя в руки:

— Когда это случилось?

— Вчера утром, в Тийи. *Они* говорят, это несчастный случай.

— Где он?

— Здесь.

Я глянул на пациентку, которую выслушивал, когда зазвонил телефон: она прикрывала полотенцем обнаженную грудь.

— Я приеду, как только смогу отлучиться.

— Я не поэтому вам звоню. Просто подумала, что вы, может быть, не заглянете в газету.

Не могу даже сказать, что меня смутило. У женщины, у которой скоропостижно умер муж, особенно если ничто не предвещало его конца, голос, естественно, может измениться. У Люлю он был обыкновенно звучный и в то же время грубоватый; интонация всегда веселая, смешливая. Короче, голос заурядный, но в нем столько жизни, что хорошее настроение Люлю всегда заразительно.

А тут я услышал бесцветный, равнодушный голос, без какого-либо оттенка чувства, словно Люлю выполняла обязанность или неприятную работу: сообщит новость и тут же кладет трубку, не оставляя собеседнику времени подыскать слова соболезнования.

Позже я понял, что она чуть не все утро обзванивала знакомых, монотонно повторяя:

— Боб погиб.

Она констатировала факт, не больше, и, казалось, мертвое тело, лежащее в нескольких метрах рядом, не до конца убеждает ее в реальности этого факта.

Мы с женой и двумя нашими мальчиками часто бывали в Тийи. Даже когда дети были еще совсем маленькими, мы и то наезжали туда, хотя и нерегулярно, так что мне нетрудно реконструировать субботний вечер и утро воскресенья.

Мне знакома любая бухточка бьефа, как называют завсегдаи участок Сены между шлюзами Ситангет и Родниковым, находящимся в шести километрах выше по течению. На

берегу нет ни городка, ни большой деревни; гостиница «Приятное воскресенье», которую держат супруги Фраден, — единственное, пожалуй, людное место.

Дандюраны приехали в субботу, как обычно, в половине восьмого: Люлю никогда не соглашается закрыть лавку раньше шести. В будни она иногда открыта до восьми, и клиентам это известно; я нередко был свидетелем, как Люлю во время обеда вставала из-за стола, услышав звонок в дверь.

— Маленькая Бови пришла за шляпкой, — объясняла она.

Люлю произносила это так, словно явилась ее лучшая подруга, и не раз бывало, что она приглашала клиенток в заднюю комнату выпить с нами чашечку кофе или полакомиться десертом.

При запирании дверей присутствовала мадемуазель Берта, старшая мастерица. Она все время толчется у Дандюранов и, когда мы у них обедали, всегда сидела за столом; к ней относятся как к члену семьи. Лет ей сорок пять — пятьдесят, скорее, ближе к пятидесяти, чем к сорока пяти. Она тощая, чернявая, с длинным острым носом, большая мерзлячка: зимой и летом носит шерстяное белье, отчего пахнет от нее как-то по-особенному.

Думаю, что в глубине души она считает себя кем-то вроде домашнего ангела-хранителя. Одного Боба или Люлю также?

Несколько дней спустя, отвечая на мои вопросы, она пробурчала:

— Не скажу, что заметила что-нибудь особенное. Вторую половину дня мсье Боб провел вне дома. Предполагаю, что он пошел играть в белот в кафе «У Жюстена».

Это маленькое кафе, где собираются завсегдатаи, на углу площади Константен-Пекёр, в двух шагах от лавки Люлю; Боб обычно играл там в карты с соседями по кварталу.

— В котором часу он вернулся?

— Около половины шестого. Хозяйка была в комнате, собирала чемодан.

Обе женщины на «ты», но когда мадемуазель Берта говорит о Люлю даже с близкими людьми, то называет ее хозяйкой.

— Он выглядел озабоченным?

— Он насвистывал.

Боб всегда насвистывал — и дома, и прогуливаясь по улицам.

— Произошло что-нибудь?

— Ничего. Хозяйка передела платье и спросила его, не наденет ли он свежую рубашку.

А он сказал, что в Тийи все равно ее сменит.

Приятель Дандюранов знают их дом не хуже своего собственного. За лавкой находится большая комната, именуемая ателье, она же служит столовой и гостиной. Днем в ней, в зависимости от сезона, работает от трех до пяти мастериц; там стоят три длинных стола, заваленных шляпками, кусками ткани, лентами, искусственными цветами. Когда наступает время обеда, часть одного стола освобождают и застилают клетчатой скатертью. Полутемная кухня располагается по одну сторону комнаты, спальня — по другую, и я не помню, чтобы когда-нибудь видел дверь в нее закрытой.

В субботу во вторую половину дня работает только мадемуазель Берта. Остальных мастериц отпускают. День был жаркий, и держу пари, что Люлю ходила в одной комбинации: она полная, плохо переносит жару, и вечно под мышками у нее на платьях круги от пота. Впрочем, слово «полная» может создать неверное представление. Люлю при ее крохотном росте кажется куда толще, чем на самом деле. Точнее было бы сказать, что она пухленькая, и я слышал, как друзья сравнивали ее с куклой. В ней и вправду есть что-то



кукольное. Однажды — мы были знакомы всего месяца полтора — Боб спросил меня: «Вам не кажется, что у моей жены съедобный вид?»

Как всегда, нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно.

— Что он делал между половиной шестого и шестью?

— Ничего такого, на что я обратила бы внимание. Перед уходом, как обычно, дразнил меня — чтобы не выйти из формы. Помнится, налил себе стаканчик белого и спросил, не составлю ли я ему компанию.

Это была обычная шутка Боба. Мадемуазель Берта не пьет, не выносит даже запаха вина, и Боб, наливая себе, всякий раз предлагал стаканчик и ей. Она на него не сердилась. Если бы хоть день прошел без поддразниваний, мадемуазель Берта сочла бы, что ей чего-то не хватает.

— Вы же знаете, какой он был: бродил все время из комнаты в комнату и нигде надолго не присаживался. «Машину вывел?» — спросила хозяйка. Он ответил, что вывел; в этот момент он был занят: прилаживал какую-то деревянную рыбку к проволоке.

— Вы не знаете, он в тот день купил ее?

— Откуда мне знать.

— Раньше вы видели эту рыбку в доме?

Она не могла ответить. Люлю, когда я задал ей такой же вопрос, — тоже. Как ни странно, мне это представляется важным.

Насколько мне известно, вот уже пятнадцать лет, а пожалуй, и чуть больше, еще с довоенных времен, Дандюраны более или менее регулярно отдыхали в «Приятном воскресеньи» в Тийи, а до этого выезжали на Марну, в окрестности Ножана.

Эти два места посещают совершенно разные люди. В Ножан, находящийся недалеко от Парижа, приезжают в основном парочки; день они проводят на реке, а потом до поздней ночи танцуют в людных, шумных кабачках, которых там великое множество.

В Тийи такой публики почти не встретишь. Большинство здешних постояльцев — супружеские пары; они привозят с собой детей. Жены сидят и вяжут на берегу под ясенями, мужья рыбачат.

Сперва в «Приятное воскресенье» приезжали одни рыболовы, они либо брали лодки напрокат у Леона Фрадена, либо оставляли свои под его присмотром. Но когда на Сене появились байдарки, молодые пары открыли для себя бьеф, и вскоре тут стало плавать несколько парусных лодок.

До позапрошлого воскресенья, 27 июня, Дандюраны принадлежали к группе так называемых байдарочников, а это значит, что воскресные дни они проводили в своей лодке из лакированного красного дерева, спускаясь по течению. Это времяпрепровождение как нельзя больше соответствовало характеру Боба, который кстати и некстати повторял остроуту Альфонса Алле<sup>[1]</sup>: «Человек не создан для работы. И вот доказательство: от работы он устает».

Постояльцы «Приятного воскресенья» делятся на тех, кто, встав ни свет ни заря, отправляется на рыбалку и в предрассветных сумерках с ненавистью копается в моторе, который никак не желает заводиться, и на тех, кто не представляет, как можно вылезти из комнаты раньше десяти утра и вместо завтрака ограничиться стаканчиком белого сухого.

Дандюраны относились ко второй категории, и можно было смело утверждать, что тут они чемпионы; они даже несколько кичились тем, что встают позже всех.

Но так было до позапрошлого воскресенья, дня открытия рыболовного сезона. В субботу

вечером, когда загорелись подвешенные на ветках лампы и вокруг них зароилась мошкара, а несколько пар устроили танцы под патефон, Боб, вместо того чтобы играть под деревьями в карты, налаживал спиннинг под руководством г-на Метенье, а уже с пяти утра тащился в кильватер его лодке от шлюза к шлюзу.

В то воскресенье я был в Тийи и, читая на террасе, несколько раз видел, как мимо проплывал в лодке Боб, голый до пояса, с носовым платком вместо шляпы на голове. Моя жена сидела неподалеку, болтала с Люлю, и я слышал, как та говорила:

— На него просто нашло. Буду удивлена, если это затянется надолго. Во-первых, он не способен вставать спозаранку. Во-вторых, очень скоро начинает испытывать, как он выражается, *жесточайшую жажду*, а чтобы ее утолить, ему необходим стаканчик прохладного белого вина.

Должен оговориться: я ни разу не видел Боба по-настоящему пьяным. Но и не помню, чтобы он мог долго обходиться, употребляя его словцо, без «глоточка белого». Люлю ему не препятствовала, напротив, сама с удовольствием пригубляла и под хмельком становилась уморительно бойкой и смешливой.

С какой же стати Боб решил перейти из клана сонь в клан рыболовов? Как раз это я и пытался выяснить, опрашивая, кого только удастся. В первое воскресенье Боб, понятное дело, ничего не поймал, вернулся перед самым полуднем и объявил, что ощущает *«жесточайшую жажду»*; спина и шея у него обгорели на солнце чуть не до живого мяса.

Когда я расспрашивал г-на Метенье, он задумался — не такой он человек, чтобы отвечать наобум.

— Мне показалось, что господин Дандюран действительно интересуется ловлей на спиннинг. Я знал и других, которые, как он, занялись рыбалкой в довольно позднем возрасте, но стали завзятыми рыболовами. Я показал ему, как крепить к леске грузило, чтобы блесна, — вам, конечно, известно, что так называют приманку в форме рыбки, — так вот, повторяю, чтобы блесна шла не слишком близко ко дну и не слишком близко к поверхности. Глубина проводки, в общем-то, зависит от времени дня, места, температуры, облачности и множества других факторов, но за один раз я сумел дать ему только элементарные сведения.

— Вы не знаете, он на неделе не покупал новую блесну?

Г-н Метенье, который возглавляет довольно крупный станкостроительный завод недалеко от бульвара Ришар-Ленуар, ответить, к сожалению, не смог.

— Помню только, я сказал, что у него неплохая блесна — эта модель хорошо себя зарекомендовала; но потом, когда он немножко подучится, ему понадобится много разных.

Я беседовал и с Джоном Ленауэром; он не рыбак, а соня и вместе с Бобом входил в компанию игроков в белот.

Дандюраны — я, кажется, уже это говорил — вышли из лавки, которая находится на улице Ламарка за несколько домов от угла улицы Коленкура, в субботу в шесть вечера. Люлю сама повернула ключ в замке и подергала дверь, проверяя, хорошо ли она заперта. Мадемуазель Берта стояла на тротуаре, провожала взглядом открытый автомобиль Дандюранов.

Они пересекли весь город, выехали на шоссе, ведущее в Фонтенебло, и сразу же за Пренжи повернули налево. Джон Ленауэр был свидетелем, как около половины восьмого они подъехали к гостинице, и, поскольку он тоже постоянно испытывает *«жесточайшую жажду»*, сразу же увлек Боба к стойке, а Люлю поднялась в комнату распаковывать чемодан.

— В эту субботу он был такой же, как всегда, — сообщил Джон. По отцу он англичанин, а мать у него француженка. Работает он в Париже в конторе Кунарда<sup>[2]</sup>. — Мы с ним пропустили по стаканчику-другому.

— А может, по четыре или по пять?

— Ну, может, по четыре.

Меня уверяли, что в рабочие дни Джон до шести вечера не берет в рот ни капли. В Тийи же, чуть проснется, начинает накачиваться белым вином; сколько я здесь его видел, вечно у него глаза блестят, вид рассеянный, на губах ироническая полуулыбка.

— Боб! Отличный был парень!

В «Приятном воскресенье» завтракают и обедают на террасе у самого берега. Зонтиков над столами нет, зато есть великолепные тенистые вязы; по вечерам в их кронах зажигаются лампы. Но если начинается дождь — это катастрофа: народ тут же бросается в дом, а столовая здесь тесная, всех не вмещает.

В ту субботу дождя не было. Погода стояла теплая. Боб пожал множество рук, бросил несколько своих излюбленных шуточек и пошел в пристройку, где они с Люлю уже много лет занимают одну и ту же комнату на втором этаже. Обособиться здесь невозможно. Жизнь протекает на глазах у всех. Лестница в пристройке наружная, а двери и окна комнат выходят на общий балкон, который и служит коридором.

Боб, как он и заявлял в Париже, переделался в холщовые штаны цвета хаки и красную рубашку, которые он носил за городом, а Люлю надела черные габардиновые брюки, туго обтягивающие ее плотный зад.

Я спросил у Люлю, о чем они говорили. Она ответила:

— Мне ничего такого не запомнилось. По-моему, он насвистывал. Потом Ольга снизу крикнула, что подошла наша очередь.

Ольга — одна из подавальщиц. В субботу ужинают по сменам, и она сообщила, что пора садиться за стол.

— Мы сидели с Мийо и Мадо.

Мийо тоже из постоянных. Живут они в районе площади Бастилии, сам Мийо — дантист. Оба они молоды, влюблены друг в друга. По-моему, переспали они в первый раз именно в «Приятном воскресенье», куда приезжали еще до свадьбы. Мадо, их дочке, девять лет. Мийо купили маленькую яхту и на ней проводят все воскресенья, а так как тут они со всеми дружны, их с радостью принимают в каждой компании.

Мийо мне сказал:

— Боб был жизнерадостен, как обычно.

— О рыбалке он говорил?

— Передразнивал господина Метенье: изображал, как тот на прошлой неделе наставлял его.

Г-н Метенье уроженец Канталя и сохранил тамошний выговор.

— Потом Боб добавил: «Если завтра судьба мне улыбнется и я поймаю щуку, Метенье хватит удар, потому что, как он мне весьма аргументированно доказал, это будет против всех правил. По его словам, сперва надо несколько месяцев учиться правильно ставить грузило, следующий сезон — искать место, где есть рыба, и, наконец, при выдающихся способностях...»

Монолог этот Боб завершил одним из излюбленных своих словечек:

— *Умора!*

Он произносил его так же часто и серьезно, как пресловутую «жесточайшую жажду».  
— Умора.

Если бы мы с женой не поехали в Рамбуйе, то Дандюраны, конечно, ужинали бы с нами, потому что маленькая г-жа Мийо всегда немножко побаивалась, как бы Боб не отпустил при Мадо какую-нибудь рискованную шутку или крепкое словцо. Такого, правда, никогда не случалось. У Боба была ехидная манера внезапно остановиться, когда все уже думали, что он забыл о присутствии девочки, и насмешливо глянуть на г-жу Мийо: он обожал нагнать на нее страху.

— Умора! — заключал он.

Так как Боб принадлежал отныне к клану рыбаков, он должен был бы, как все они, лечь спать пораньше. В «Приятном воскресенье» время отхода ко сну — причина распри, которая тянется из года в год; из-за нее несколько раз часть постояльцев уходила. Рыболовы возмущаются, что вечерами им мешает спать патефон, громкие разговоры, а поздно ночью — шум умывальников. Остальные жалуются на лодочные моторы, которые начинают тархтеть еще до восхода солнца.

В эту субботу Боб не пошел за советом к г-ну Метенье. Никто не видел, чтобы он готовил удочку или чистил переносной мотор, чем занимались вдоль всей пристани остальные рыбаки. Поужинав, он предложил Джону Ленауэру:

— Ну что, до полутора тысяч очков?

Они позвали Рири, который служит в страховой компании на улице Лаффита; в Тийи он ходит в матросской тельняшке и белой американской военно-морской бескозырке набекрень. За неимением четвертого партнера с ними села Люлю; играли на террасе, и в полночь, когда г-жа Фраден пришла остановить патефон, под который неумоимо танцевали не то две, не то три пары, партия еще продолжалась.

Упомянув Рири, я поразился одной вещи. Рири костляв и тощ, как бездомный пес, ему года двадцать четыре, не больше. Он совсем еще юнец. Джону Ленауэру порядком за тридцать; он женат, но живет холостяком: его жена служит в Лондоне, тоже у Кунарда, так что видятся они всего несколько дней во время отпуска.

Бобу к моменту смерти было сорок девять; Люлю — она никогда не скрывала своего возраста — на три года младше его. Родились они оба 27 июля и всегда страшно веселились, поздравляя друг друга с общим днем рождения.

Так вот, я поразился тому, что до сих пор мне не бросалась в глаза разница в годах между Дандюранами и многими их приятелями. В Тийи они были своими почти в любой компании, но помнится, я гораздо чаще видел их с молодежью, чем с людьми их возраста. На улице Ламарка, где они редко оставались в одиночестве, часов в одиннадцать вечера часто можно было застать компанию человек в пятнадцать; гости пили, расхаживали по ателье, которое служило гостиной, и кого там только не было: и супружеские пары в возрасте до тридцати, и девицы, явно не достигшие совершеннолетия, тут же оказывались такие люди, как художник Гайяр, давнишний друг дома, которому далеко за шестьдесят, или Розали Кеван, старуха соседка, умеющая гадать на картах и на кофейной гуще.

Я поинтересовался у Джона:

— Выиграл Боб?

— Как обычно.

Дандюран почти никогда не проигрывал в белот. Он играл в него ежедневно, как минимум часа по два — по три, так что, естественно, стал первоклассным игроком.

Конечно, в игре многое зависит от везения. Но в его руки с длинными, удивительно гибкими пальцами карта, что называется, перла. Бывало, при торговле, особенно с ворчливыми противниками, он заявлял, не глядя: «Беру!»

А через секунду поднимал карты, и оказывалось, что у него достаточно масти, чтобы объявить козыри. Не стану утверждать, что это приводило Люлю в ярость. Она не умела злиться на мужа по-настоящему. Однако в такие моменты Люлю смотрела на Боба, нахмутив брови. Не знаю, что она при этом думала. Но, наверно, ее возмущала эта несколько детская манера испытывать судьбу, а может быть, и всегдашнее его везение. Мне кажется, получи Боб скверную карту и проиграй кон, она бы тихо обрадовалась.

Вид у него всякий раз был такой, будто он посмеивается над партнерами. Он мог небрежно сказать соседу слева, словно карты у того прозрачные:

— Ну-ка, выкладывай короля «пик».

И тому действительно приходилось отдавать пикового короля.

Боб не играл по крупной — чаще всего на угощение. Но если бы захотел, мог бы зарабатывать белотом на жизнь — стать своего рода профессионалом, вроде игроков, что встречаются в маленьких барах на Монмартре да и в других кварталах. Он же довольствовался тем, что каждый или почти каждый год выигрывал чемпионат Восемнадцатого округа.

— Выпили вы много? — спросил я еще у Ленауэра.

— Две бутылки белого.

На четверых это пустяк, особенно если учесть, что в этой четверке были Боб и Ленауэр.

— Спать он пошел сразу, как кончили играть?

— Люлю отправилась первая и зажгла в комнате свет. Я помню ее тень на оконной занавеске: она стягивала через голову свитер.

— Боб ничего вам не сказал?

Джон задумался и не без удивления сообщил:

— Да, действительно. У меня это как-то из головы вылетело. Прощаясь, Боб произнес: «Ты славный малый». И мне еще показалось, что, отвернувшись от меня, он пробормотал: «Умора! На свете тьма-тьмущая славных парней!»

Я не отставал от Джона:

— А во время игры они не ссорились?

Нет. Вопрос был явно дурацкий.

Лампы на террасе погасли. В тот вечер была луна — я это знаю, потому что в Рамбуйе мы с друзьями допоздна пробыли в парке, болтали, слушали кузнечиков. Лениво плескалась Сена; в комнате, где раздевалась Люлю, горел свет.

— Боб поднялся к себе.

Джон занимает комнату на первом этаже как раз под Дандюранами и слышал все, что они говорили.

— Долго они разговаривали?

— Пока не легли. Я слышал, как Люлю сказала: «Тише! Разбудишь господина Метенье». Боба я больше не видел. И утром ничего не слышал.

Не смог мне ничего сообщить и Рири, который, как обычно, ночевал на барже-даче Ивонны Симар, пришвартованной метрах в ста от гостиницы. Об этом все знают, но молчат. На людях он и Ивонна, которая старше его на восемь лет, ведут себя так, чтобы ничем не обнаружить свою близость; они даже не на «ты», хотя в Тийи все друг друга «тыкают».

Уходя из «Приятного воскресенья», где она столуется, Ивонна желает Рири, как и всем остальным, спокойной ночи. Он же почти всегда дожидается, пока постояльцы не разойдутся, полагая, видимо, что так обязан вести себя порядочный человек, и только тогда в своем матросском наряде направляется вразвалочку к сходням баржи.

Это, в общем-то, небольшое суденышко; на палубе установлен деревянный домик с двумя тесными каютками и еще один, который служит гостиной и столовой, а также трамплин для прыжков в воду.

Ивонна, дочь адмирала Симара, живет здесь с подругой, толстой девицей по имени Лоранс; они ровесницы, и обе работают продавщицами в доме моделей на авеню Матиньон.

Лоранс, как и остальным, все, конечно, известно. Да и сопоставив количество постояльцев и число комнат, легко убедиться, что для Рири места в гостинице нет.

Но он неизменно дожидается, когда в каютах погаснет свет, и только тогда по доске, служащей сходнями, проходит на баржу. Лоранс рано встает, и поэтому еще до восхода он уже слоняется по берегу. Рири да Леон Фраден — единственные, кто присутствует при отплытии рыболовов и подчас даже подсобляет, если у кого-нибудь не заводится мотор.

Люлю сквозь сон слышала, как поднимался муж, но до конца так и не проснулась.

— Кажется, он поцеловал меня в лоб: я почувствовала прикосновение его небритой щеки.

Рири видел, как Боб в красной рубашке, с накинутым на спину свитером, рукава которого были завязаны на шее, спустился по лестнице. У пристани оставалась всего одна лодка, но солнце еще не взошло.

— Я обратил внимание, что щеки у него красные, как у ребенка, которого вытащили из постели. «Однако холодно», — пробормотал он и поежился. Чтобы завести мотор, ему пришлось раз шесть дернуть за — шнур.

Мотор у Боба был дюралевый, подвесной, в полторы лошадиные силы.

— Он сделал два круга перед гостиницей.

— Смотрел на окна своей комнаты?

— Не знаю, куда он смотрел. Над водой, словно дымовая завеса, висел туман. Боб помчался вверх по реке да с такой скоростью, что лодка наполовину выскочила из воды.

— Он забросил спиннинг?

— Не думаю. Не помню этого. Он сидел неподвижно, держа рукой румпель. Если он и начал рыбачить, то выше, когда я уже перестал наблюдать за ним. Господин Метенье возился со своей лодкой и пробормотал: «Да, бывает, они тоже начинают чем-нибудь заниматься всерьез».

Я уже говорил, что хорошо знаю бьеф. Правый берег здесь довольно высокий, лесистый, лишь кое-где среди зелени видны красные пятна крыш. Левый же — низкий, заросший тростником, куда влюбленные загоняют свои лодки.

Таких, кто блеснит щук, пользуясь спиннингом как дорожкой и плавая на малом газу от шлюза к шлюзу, немного. Большинство удит на червяка или на мушку; они причаливают лодки к кольям, воткнутым в нескольких метрах от берега, и, скрючившись, неподвижно сидят целыми часами, а то и весь день. Леон Фраден, который выглядит заправским браконьером, хотя круглый год носит форму охотничьего сторожа, на неделе подготавливает места рыбалки для своих клиентов; это одна из его обязанностей.

Покусывая, как обычно, усы, отчего они всегда мокрые, Фраден рассказывал мне:

— Когда он отплыл, человек пять уже устроились у своих жердей, а господин Рэм даже

поднялся в четыре, чтобы занять место напротив карьера.

Г-ну Рэму под пятьдесят, он начальник отдела в министерстве общественных работ, а в Тийи считается лучшим удильщиком в проводку. Он видел, как Боб плыл на лодке, и даже сделал ему знак держаться подальше и не распугивать рыбу. Нет, у него не создалось впечатление, что Боб тянет блесну. Если бы он блеснул, то плыл бы медленней. В этот момент Боб находился километрах в двух от плотины, к которой, похоже, и направлялся; тут как раз порожняя баржа, поднимавшаяся по Сене, дважды прогудела, сигналив смотрителю шлюза. Суда, которые плавают на буксире или большими караванами, по воскресеньям чаще всего стоят на приколе. Но кое-кто из владельцев самоходных барж работает и в воскресные дни.

Баржа проплыла недалеко от Боба, и рулевой, надо думать, видел его. Они вроде бы даже помахали друг другу. Как бы то ни было, можно полагать, что эти десять минут Боб еще был жив.

Расспросить хозяина баржи мне не удалось: сейчас он далеко, плывет, наверно, где-нибудь по Сене или по Восточному каналу. О том, что они с Бобом обменялись приветствиями, рассказал мне г-н Рэм.

Что же касается дальнейшего, то никаких свидетельств нет. Смотритель Родникового шлюза вспоминал, что, когда маневрировал затворами, вроде бы слышал шум маленького мотора. Но внимания не обратил: тут это обычное дело.

— У меня руки замерзли. Прямо не верилось, что накануне стояла такая жара и после полудня снова станет жарко. Я ушел со шлюза на минутку, чтобы выпить чашечку кофе; пока камера опорожняется, я как раз успеваю его сварить. Я пригласил и хозяина баржи, но он ответил, что уже пил. Вы же знаете, как это бывает.

— А в сторону водослива вы не смотрели?

Если бы он даже смотрел, все равно бы ничего не увидел. Метрах в десяти ниже водослива на самом течении есть небольшой заросший кустарником островок, который закрывает обзор.

Шум доносился как раз из-за островка.

— Мотор умолк?

— Должно быть. Когда баржа отшлюзовалась, уже ничего не было слышно.

Шлюзовой смотритель ушел к себе.

Несколькими минутами позднее один рыболов — не из «Приятного воскресенья», у него здесь собственная хибарка — заметил недалеко от островка пустую лодку, стоящую носом к водосливу.

— Что-то не давало ей плыть по течению, словно она зацепилась за дно. Сперва я подумал, что она отвязалась где-нибудь наверху и перевалила через водослив. Такое иногда бывает. Я рыбачил и не сразу забеспокоился. Но немного спустя развернулся рядом с этой лодкой и вдруг, не знаю почему, почувствовал: что-то тут неладно. Я вытащил из воды блесну, потом схватил эту лодку за нос, и несколько секунд она плыла рядом со мной, но как-то неровно, словно ей что-то мешало. Какой-то человек удил с берега — я его не знаю — и крикнул мне, не надо ли помочь. Я показал знаком, что не надо.

— Сколько времени все это продолжалось?

— Не знаю. Минут пять, наверно. Точно трудно сказать. С лодки уходила в воду бельевая веревка, она была натянута. Часто, чтобы заякорить лодку на течении, на веревку привязывают большой камень или чугунную гирю. Я потянул за нее, она подалась. Нас

сносило течением, а я все тянул, и вдруг из воды показалась рука и словно поманила меня.

Рыбак с перепугу тут же бросил веревку. Фамилия его не имеет значения. Он краснодеревец, из Пюто, отец четверых детей. О рыболове, который подавал с берега знаки и что-то кричал, сложив руки рупором, он просто забыл и кинулся напрямик к шлюзу, видимо, потому, что шлюзовой смотритель — лицо в определенном смысле официальное и носит форменное кепи.

— Там... «Лодка... Утопленник...

Может быть, Боб тогда еще был жив и, подоспей помощь поскорее, его удалось бы откачать. С момента, когда краснодеревец заметил пустую лодку, до того, как он к ней подплыл, прошло вроде бы не более пяти минут. Но трудно поверить, что рука и впрямь подавала ему знак, — из-за течения часто кажется, будто утопленник шевелит руками...

Шлюзовой смотритель схватил багор и почему-то — видимо, не подумав — спасательный круг.

На том берегу рыболов все время кричал, но что — они не разобрали.

Они потянули за веревку. Вынырнуло тело Боба: рукава свитера завязаны на шее, красная рубаха облепила грудь, вокруг правой лодыжки двойной петлей захлестнулась веревка.

На конце ее была привязана шестиугольная чугунная гиря в пять килограммов — такими пользуются в лавках.

Смотритель, который, по его собственным словам, за годы службы выловил добрую дюжину утопленников — и мертвых, и еще живых, — сказал мне нехотя, словно ему неприятно касаться этой темы:

— Я хорошо его знал. Он часто приплывал ко мне на шлюз выпить глоток белого.

— Как вы думаете, веревка захлестнулась у него вокруг ноги, когда он бросал груз в воду?

Начнем с того, что Бобу Дандюрану незачем было останавливаться на самой быстрине. Его спиннинг лежал на дне лодки, и ничто не свидетельствовало о том, что он его забрасывал. Даже если бы неожиданно заглох мотор, Боб мог бы подождать, когда лодку отнесет пониже, на спокойную воду, и там посмотреть, что случилось.

— Один раз веревка может захлестнуться, такое бывает, — веско произнес смотритель. — Я сам однажды видел, как, бросая швартов в камере шлюза, матрос вот так же свалился в воду. Но чтобы два раза...

Мы беседовали в доме смотрителя. На шлюзовых воротах его заменила жена. Из дубового буфета с дверцами из цветного стекла он извлек бутылку виноградной водки, наполнил две стопки с толстым дном.

— Ну, за упокой его души! — произнес смотритель, поднимая стопку к глазам и вглядываясь в прозрачную жидкость.

Потом, утерев рот, добавил:

— Ему тоже нравилась эта водка.



Я уже выходил из кабинета, собираясь идти на улицу Ламарка, но неожиданно пришлось задержаться: соседский мальчик порезал руку кухонным ножом; я наложил ему три шва под рыдания матери — как же, у ребенка теперь на всю жизнь останется шрам!

Я кончил перевязку, когда в дверь, соединяющую кабинет с жилой частью квартиры, осторожно постучала жена.

— Ты один? — как всегда негромко спросила она.

— Минуты через две освобожусь.

Я знал, что она осталась за дверью. Если бы напряг слух, мог бы услышать ее дыхание. Когда я открыл дверь, жена стояла с утренней газетой в руках.

— Ты знаешь, что произошло?

Надо было бы дать ей сообщить новость.

— Умер Боб Дандюран, — сказал я, укладывая саквояж: по возвращении с Монмартра я собирался зайти еще к двум пациентам.

— В газете написано, что он вчера утром утонул в Тийи.

— Люлю мне звонила.

— Как она?

— Трудно сказать. Кажется, держит себя в руках. Я загляну к ней.

— А ты не находишь, что мне следовало бы поехать с тобой?

— Думаю, сейчас не стоит. Лучше вечером или завтра.

Моя черная малолитражка — наверно, самая грязная машина в нашем квартале, потому что у меня все никак не хватает времени отдать ее вымыть, — стояла на улице возле дома, где я обычно оставляю ее на ночь. Уже пятнадцать лет мы живем на улице Лоретской богоматери у площади Сен-Жорж. Ко мне ходят лечиться несколько торговцев с нижнего конца нашей улицы и с улицы Мучеников, однако большинство пациентов у меня с площади Бланш и с площади Пигаль: танцовщицы, девицы из кабаре и даже несколько профессиональных проституток — славные, как правило, девушки. Этим и объясняется, почему после полудня на прием ко мне приходит народу больше, чем утром. Но теперь, когда нашим сыновьям исполнилось одному девять с половиной, другому одиннадцать, жена пытается уговорить меня перебраться в другой квартал.

— Имей в виду, Шарль, они в таком возрасте, когда уже все понимают.

Пока я пропускаю ее слова мимо ушей. Но предвижу, что не сегодня-завтра меня ждет серьезный разговор.

Около двенадцати я вылез из машины возле светло-синей лавки Люлю и, только увидев закрытые ставни и на одной из них карточку с черной каймой — читать я ее не стал, — по-настоящему осознал, что Боба больше нет. Я толкнул деревянную дверь. Не знаю, сколько народу теснилось между двумя прилавками — человек шесть-семь, не меньше, в основном, как мне показалось, соседи, владельцы близлежащих лавочек.

В ателье-гостиной людей набилось еще больше, и первым моим впечатлением было, что все говорят разом. Я отыскал взглядом Люлю — как всегда, она оказалась самой маленькой среди присутствующих; заметив меня, она бросилась мне в объятия.

Мы заговорили одновременно, произнося слова настолько банальные, что, переглянувшись, ощутили неловкость.

Я говорил:

— Я опоздал...

А она в это время:

— Как любезно, что вы приехали...

Возможно, ей, как и мне, пришла в голову мысль, что, будь Боб жив, он бросил бы на нас насмешливый взгляд и, не вынимая изо рта неизменной сигареты, пробормотал: «Умора!»

Люлю предложила:

— Шарль, хотите на него взглянуть?

Дверь в спальню на этот раз была закрыта. Люлю бесшумно отворила ее. Служащие похоронного бюро еще не положили тело в гроб и не убрали комнату, но обстановка уже была траурная: гардины задернуты, по обе стороны кровати горели восковые свечи, в изножье стояло несколько букетов цветов — первые, купленные соседями у цветочниц с тележек.

Я подумал, где, интересно, Люлю раздобыла эту молитвенную скамеечку, на которой мадемуазель Берта преклонила колени, перебирая костлявыми пальцами четки. Несомненно, позаимствовала у какой-нибудь старой богомолки, живущей в доме.

— Шарль, как вы его находите?

Тело пробыло в воде недолго и потому не имело того жуткого вида, какой свойствен утопленникам.

— Он словно улыбается, верно?

На столе, накрытом белой скатертью, стояла святая вода и в ней веточка букса. Я перекрестился. В углу какая-то старуха бормотала молитвы.

Когда мы на цыпочках вышли, мадемуазель Берта последовала за нами, вздыхая так, словно ее насильно оттащили от Боба. Странно было, войдя в ателье, ощутить совсем рядом с покойником привычный и вкусный запах еды. Оказалось, одна из мастериц готовит рагу. Рядом с ней у плиты крутилась вторая, а на столе я заметил стаканы и две початые бутылки вина.

В углу сидел художник Гайар с багровым, как всегда, лицом, слезящимися глазами и дрожащими руками. Я заговорил с ним не сразу и не помню, что именно сказал. Да это и неважно — не думаю, чтобы у него часто случались моменты просветления. Выражаясь медицинским языком, он являл собой образчик алкоголика в последней стадии, когда уже нет даже потребности в еде; удивительно только, как человек способен так долго это выдержать. Впрочем, если подумать, я не стал бы категорически утверждать, что моменты просветления у него были редки. Порой люди, полагая, что Гайар не в состоянии ничего понять, говорили о нем с насмешкой или с издевкой, и тогда я замечал, как он стискивает зубы и взгляд его становится злым.

Люлю пришлось оставить меня: пришел какой-то человек, которого я не знал, и она повела его взглянуть на мертвого Боба. И тут мадемуазель Берта тронула меня за рукав.

— Хозяйка вам ничего еще не сказала? — спросила она шепотом — так, наверно, шушукаются в церкви.

Мы стояли в углу, отделенные от всех столом, на котором в беспорядке валялись шляпки.

— О чем?

— Они не должны были так говорить. Какое им дело — пускай бы она думала, что это

несчастный случай.

Я еще ничего не знал о том, что произошло в Тийи.

— А разве это не так?

Старая дева, глядя мне в глаза, покачала головой. Она осунулась сильнее, чем Люлю, лицо пожелтело, губы обескровились, и я машинально взял ее за руку, проверяя пульс.

— Это от усталости, — прошептала она. — Ни хозяйка, ни я не сомкнули глаз. Слишком много наговорили жандармы. Слишком много или слишком мало. Сейчас она догадалась, что они имели в виду, когда задавали вопросы, и мучается.

— Самоубийство?

Мадемуазель Берта кивнула, и подбородок у нее дрогнул. Не знаю, какой у нее пульс обычно, вероятно, ниже нормы. Но сейчас он вряд ли был больше пятидесяти пяти.

— Вам надо бы выпить глоточек чего-нибудь покрепче.

Впрочем, настаивать бесполезно. Никакие мои рекомендации она не примет. Самое лучшее, пожалуй, — порасспросить ее и дать возможность высказать все, что у нее на душе.

— А разве точно неизвестно?

— Никто ничего не знает. Все это настолько невероятно!

Повторяя общее мнение, я воскликнул:

— Он всегда был такой веселый!

Это одна из тех фраз, которые произносишь, не подумав. Я отметил, что мадемуазель Берта взглянула на меня с изумлением и даже словно с укором. Ее взгляд, если перевести его в слова, означал: «И вы тоже?»

Неужели она была не согласна с друзьями Боба и вообще со всеми, кто его знал? Он сразу становился душой общества, где бы ни появился; стоило ему присоединиться к какой-нибудь компании, и все лица тут же прояснялись.

— Вы не знаете, он не был болен? — спросила мадемуазель Берта.

Я не знал. Бывало, во время вечеринки или на уикэнде я давал Бобу совет, что принять от ангины или какой-нибудь обычной хвори, но он ни разу не пришел ко мне в кабинет на консультацию. То же самое — с большинством моих друзей, и я их прекрасно понимаю: своеобразная стыдливость мешает им обнажать свои мелкие немощи перед человеком, с которым они вскоре встретятся в другой обстановке.

Люлю подобной стыдливости лишена. Она частенько консультировалась у меня. Бывало, у них сидело с полдюжины гостей, а она спрашивала меня вполголоса:

— Шарль, вы не могли бы на минутку выйти со мной?

Боб, знавший, в чем дело, провожал нас взглядом. В таких случаях Люлю притворяла дверь спальни. Она ложилась на край кровати, юбка у нее задиралась, так что оголялись бедра.

— Шарль, меня опять беспокоит живот. Боюсь, что когда-нибудь у меня все вырежут.

Когда ей не было и двадцати, у нее впервые заболел живот и напугал на всю жизнь: операции она боялась больше, чем серьезной болезни вроде туберкулеза.

Насколько я могу судить, у Боба для его возраста и при том образе жизни, какой он вел, здоровье было неплохое. Всего лишь года два-три назад он обнаружил, что у него имеется желудок, который плохо переносит белое вино. Всякий раз после еды, а иногда и во время ее, Боб принимал большую дозу соды. Не слишком настаивая, я пытался отговорить его от этого и даже дал желудочное лекарство на основе каолина, но Боб упорно держался за соду, которая быстрее снимала боли.

Я спросил у мадемуазель Берты:

— Он обращался к врачу?

— Точно не знаю. Думаю, что да.

— Что вас навело на такую мысль?

— Даже не могу сказать. Всякие мелочи.

И она отвернулась. Видимо, поняла, что выдала себя: выходит, она следила за Бобом куда внимательней, чем его жена.

Я пожал руку только что вошедшему Рири. Всегда немножко странно видеть его в городской одежде. Пришел сосед мясник в фартуке и тоже двукратно расцеловался с Люлю. Одна из мастериц спросила:

— Доктор, правда ведь, ей обязательно нужно поесть?

Я подтвердил. Решив, что поговорить с Люлю больше не удастся, я собрался уходить, но тут она снова оказалась рядом со мной. Она вцепилась мне в руку с такой силой, что я сквозь рукав чувствовал, как ногти впиваются в тело.

— Шарль, вы хорошо его знали. Скажите, почему он мог это сделать?

И пока я думал, что ответить, Люлю выдохнула:

— Думаете, из-за меня?

Люлю не плакала. Она держалась на одних нервах и была в таком напряжении, что казалась самнамбулой.

— А я-то всю жизнь воображала, что он счастлив со мной!

Если ей сейчас вонзить в руку иголку, она, наверно, ничего не почувствует. При этой мысли я вспомнил, что со мной мой саквояж.

— Люлю, здесь не найдется местечка, где бы я мог сделать вам укол?

— Укол чего?

— Транквилизатора.

— Я не собираюсь спать.

— Гарантирую, что от него вы не уснете.

— Точно?

Она огляделась и направилась в кухню.

— Идемте сюда.

Там все еще сидели обе мастерицы. Люлю захлопнула дверь, понаблюдала, как я готовлю шприц, и задрала платье на правом бедре. Одна из девушек, та, что велит звать ее Аделиной, потому что считает это имя более поэтичным, чем Жанна, вдруг расплакалась.

— Бедная девочка! — пробормотала Люлю. Она все еще выглядела так, словно спала с открытыми глазами. — Для нее это тоже удар. Вы не сделаете укол и ей?

— Не думаю, что в этом есть необходимость. Сейчас надо, чтобы в доме было поменьше народу и прекратилось хождение.

— Разве я виновата, что люди приходят?

Вероятно, я был не прав. Суматоха не давала ей остаться один на один с жестокой правдой.

Выходя из кухни, Люлю почти шепотом сказала, кинув в сторону Аделины:

— Вы знаете, что у Боба с нею?..

Я сделал знак, что знаю.

— Я никогда не ревновала. Раз он был счастлив...

Я смешался с людьми, заполнявшими ателье, но мне показалось, что Аделина смотрит

на меня, словно хочет что-то мысленно передать. Уверенности у меня не было, но я решил при первой возможности поговорить с девушкой.

Люлю продолжала:

— Позвонила сестра Боба и сказала, что приедет сегодня днем.

Говоря это, она потирала бедро, куда я сделал укол.

— Сестра Боба?

— А вы не знали, что у него есть сестра? Она вышла за адвоката из квартала Перейр. Боб виделся с нею раз или два в год. Она отдыхает с детьми в Дьеппе. Ее муж остался в Париже и сообщил ей по телефону, а она тут же позвонила мне. Она уже в пути, едет на машине.

Я собрался уходить и тут снова столкнулся с мадемуазель Бертой, которая, как подозреваю, умышленно оказалась у меня на дороге.

— Вы дали ей успокаивающее?

— Да. А когда вы обо всем узнали?

— Вчера вечером около семи. Я была дома.

У нее квартира через три дома отсюда. Над ее образом жизни часто посмеивались. Боб утверждал, что она такая тощая оттого, что все ночи напролет натирает полы. У ее дверей, рассказывал он, лежат две пары войлочных шлепанцев, которые надевают на обувь, чтобы не затоптать паркет. «Одна пара для нее, а вторая — на случай, если неожиданно придет гость!» — «А если гостей будет двое?» — «Им придется поделить шлепанцы и скакать на одной ноге».

Мадемуазель Берта все так же шепотком рассказывала мне, что происходило вчера вечером. Как подъехала санитарная машина с телом, она не видела: ее окна выходят во двор. Машину заметила привратница и примчалась с сообщением к мадемуазель Берте.

Примерно с час продолжалось беспорядочное хождение соседей, но не такое, как сегодня: было воскресенье, и многие еще не вернулись из загорода.

— Мы с хозяйкой пробыли при нем одни всю ночь.

Я глянул в сторону спальни.

— Это вы все устроили?

Она кивнула и, прикрыв глаза, добавила:

— Я его обмыла и обрядила.

У меня возник один вопрос, который мне очень бы хотелось задать ей, и когда-нибудь я, наверно, решусь на это, если только — что будет гораздо проще — не спрошу у Люлю, потому что та и впрямь не ревнива: за все годы нашего знакомства я не замечал за ней этого.

У Боба в Тийи бывали приключения, но несерьезные, из тех, что не влекут за собой последствий и о которых на другой день забывают. Все друзья Дандюранов знали и про это, и про то, что Боб иногда захаживал домой то к одной, то к другой мастерице. В том числе и к двадцатилетней Аделине, недавно поступившей в мастерскую. Красавицей ее не назовешь, но мордашка у нее довольно смазливая.

А вот было ли у Боба что-нибудь с мадемуазель Бертой, если учесть ее возраст между сорока пятью и пятьюдесятью, длинный костистый нос и шерстяное белье? Она-то, ясное дело, питала к Бобу любовь, которую всячески старалась скрыть. Но какого рода любовь? Трудно сказать. Я бы, кстати, не удивился, если бы узнал, что Боб из жалости или сочтя это забавным — он, должно быть, бормотал: «*Умора!*» — ненадолго заглядывал в ее квартиру, естественно, надевая войлочные шлепанцы.

Но этим ничего не объяснишь. Это всего лишь черта характера Боба Дандюрана. Тем не менее, если так было, Люлю это известно, и она мне расскажет.

Однако в тот момент я находился под впечатлением представившейся мне картины: обе женщины ночью обряжают покойника, убирают комнату, зажигают свечи, застилают стол скатертью, ставят на него чашу со святой водой и веточкой букса.

Только потом я узнал, что в действительности происходило в воскресенье.

Шлюзовой смотритель с помощью поднявшего тревогу краснодеревца вытащил Боба на берег и минут пятнадцать делал ему искусственное дыхание, а краснодеревец в это время звонил в жандармерию.

Вскоре приехали на велосипедах два жандарма; один из них опознал Боба, которого иногда видел на бьефе, но не знал по фамилии.

— Это который всегда плавал в лодке с маленькой толстушкой?

— Его фамилия Дандюран, — сообщил смотритель.

— Они останавливаются у Фраденов, да?

В дом тело вносить не стали, положили на стенке шлюза и накрыли куском брезента.

В восемь утра в «Приятном воскресенье» зазвонил телефон, трубку взяла г-жа Фраден.

— Алло, мадам Бланш? Это бригадир Жови. Скажите, у вас проживает некая госпожа Дандюран?

— Она еще спит. А в чем дело?

— Ее муж уплыл утром на лодке?

— Господин Дандюран? Да. С ним что-нибудь случилось?

— Он утоп.

Бригадир Жови так и произнес: «Утоп».

— Хорошо бы, если бы вы разбудили его жену и она пришла опознать труп. А я пока позвоню в Мелён лейтенанту.

Джон Ленауэр еще не проснулся. На террасе завтракали не то две, не то три супружеские пары, в том числе Мийо с дочкой. Рири в белой бескозырке набекрень слонялся, сунув руки в карманы, по комнате, где устроен бар.

— Рири, вы не согласились бы сходить со мной? Я должна сообщить бедной госпоже Дандюран, что ее муж погиб.

Рири, не раздумывая, дал согласие. Но хозяйка сама спохватилась:

— Она еще не встала. Пожалуй, будет лучше, если я зайду к ней одна, без мужчины.

Впоследствии я побеседовал с г-жой Фраден — местные жители и постояльцы зовут ее мадам Бланш. Просто невероятно, что у Леона Фрадена, человека грубого, такая жена; воспитание она получила в монастырской школе, и даже сейчас, хотя она всего лишь трактирщица, это заметно и по манерам, и по одежде. Дочка Фраденов, кстати, тоже учится в монастырской школе, а на лето ее отправляют к родственникам в Шер, чтобы оградить от соприкосновения с бурной жизнью в «Приятном воскресенье».

— Комната не была заперта на ключ. Сердце у меня так колотилось, что пришлось немножко постоять перед дверью. Госпожа Дандюран не слышала, как я вошла. Она спала, положив руку на то место, где спал ее муж: там еще видно было углубление, оставшееся после него. Я позвала: «Мадам Люлю! Мадам Люлю!»

Сперва она махнула рукой, словно отгоняла муху. В отличие от большинства женщин, спящая, она выглядит куда моложе; на лице у нее была недовольная гримаска, как у маленькой девочки. Внезапно она вскочила и села на кровати: спала она нагишом. Увидев

меня, скрестила на груди руки и спросила:

— Который час?

— Восемь.

Видно было, что она не понимает, зачем я здесь, а я не знала, с чего начать. По моему лицу она, очевидно, догадалась, что я принесла дурную весть, потому что соскочила с кровати и кинулась ко мне со словами:

— Что-нибудь с Бобом, да?

Я кивнула.

— Ранен?

Я не успела и рта раскрыть. Она так закричала, что слышно было чуть ли не во всех комнатах и даже на террасе:

— Он умер!

Я ведь не могла сказать, что нет. А она схватила меня — впилась ногтями в руки — и прямо завывала:

— Неправда! Ну, скажите, что это неправда! Где он? Я хочу его видеть!

Думаю, что если бы я не удержала ее, она выскочила бы на улицу, как была, голая. Я подала ей черные брюки и свитерок, которые увидела на стуле. Она машинально поискала взглядом бюстгальтер, надела его, даже два раза махнула расческой по волосам, а я в это время говорила:

— Он на Родниковом шлюзе. Как погиб, не знаю: у бригадира не было времени рассказывать...

Рири ожидал нас у лестницы.

— Я вас отвезу, — предложил он. — Ключ от машины у вас есть?

— Не знаю, куда Боб его сунул.

— Ничего. Возьму машину Джона. Он всегда оставляет ключ в машине.

Мне все-таки удалось заставить ее выпить перед отъездом чашку кофе. Постояльцы смотрели на нее, но подойти не решались. Я их понимаю. В такой ситуации никогда не знаешь, что делать. Рири схватил с полки бутылку рома и налил ей полный стакан. Она, должно быть, не поняла, что пьет, и, закашлявшись, облила ромом свитер. Ни ее, ни Рири я утром больше не видела. Когда Джон, единственный, кто ничего не слышал, наконец встал, то тут же одолжил чью-то машину и поехал за ними. К двум часам они все трое вернулись пообедать. Оказывается, им пришлось ехать в Мелён, куда сразу же отвезли тело.

— Обедали они здесь?

Г-жа Фраден кивнула. Вот и все, что ей было известно. Поев, Люлю побросала вещи, свои и Боба, в чемодан, и Джон отвез ее в Мелён. Воспользоваться своей машиной она не могла — не умеет водить.

Рири практически ничего не добавил. Несмотря на вид и повадки молодого шалопаю, он, когда дело касается женщин, проявляет неожиданную деликатность.

— Люлю — молодчина! — заявил он. — А лейтенанту мне хотелось набить морду.

— Почему?

— Такие задавал он вопросы.

Лейтенант жандармерии — я с ним не виделся — с самого начала решил, что это скорей всего не несчастный случай, а самоубийство. Оказывается, в первом часу один из его подчиненных, взяв лодку Дандюранов, более полусотни раз всеми возможными способами забрасывал в воду пятикилограммовую гирию, и ни разу веревка не захлестнулась вокруг его

щиколотки так, как у Боба.

Уже в десять утра лейтенант приказал перевезти тело на грузовичке в Мелён, в казармы жандармерии, и вызвал судебно-медицинского эксперта. Может, он заподозрил неладное? Предположил возможность преступления? Но показания тех, кто видел, как Боб отчалил от «Приятного воскресенья», как плыл, сидя на корме, должны были его разубедить.

Я не согласен с Рири, что этот лейтенант какой-то садист; скорее всего, он педантичный служака, из тех, что стремятся к совершенству в мелочах. Каждый день он встречается с людьми самого разного рода. От Люлю пахло спиртным. Лейтенант увидел черные брюки, обтягивающие зад, несвежий свитерок, взлохмаченные волосы, более темные к корням — Люлю их подкрашивает, — и принял ее не за ту, кто она на самом деле.

Джон слышал часть вопросов, которые задавали в жандармерии; надо добавить, что лейтенант сам уселся, но им сесть не предложил. Взбешенный Джон дважды вмешивался; в конце концов ему велели покинуть кабинет, и жандарм тут же спросил Люлю:

— Это ваш любовник?

А перед этим он выяснял, не ругались ли Люлю и Боб накануне вечером, была ли у Боба любовница, сколько он получал в качестве рекламного агента не очень популярного иллюстрированного журнала, где работал уже два года.

— Чем он занимался до этого?

— Был коммерческим представителем обувной фабрики.

— В Париже?

— Да.

— Его выгнали?

— Нет.

— Почему же он тогда сменил работу?

— Потому что ему надоело.

— Часто ему случалось менять работу?

— Столько раз, сколько ему хотелось.

— Выходит, если я правильно понимаю, это вы на ваши шляпки содержали дом?

— Я приносила свою долю.

— Но большую?

— Когда как.

Этот допрос был жесток еще и потому, что лейтенант оказался близок к истине. Я знаю, что за тринадцать или четырнадцать лет Боб Дандюран сменил чуть ли не двадцать мест и не всегда уходил по собственной воле. Он просто был не способен принимать всерьез дело, которым ему приходилось зарабатывать на жизнь.

— Вы никогда его этим не попрекали?

— Попрекать его? Мне не в чем было его упрекнуть.

Рири сказал о Люлю «молодчина», и в его устах это был серьезный комплимент. Она мужественно защищалась или, верней, защищала своего Боба от инсинуаций лейтенанта. Но с полной ли убежденностью? Это уже совсем другая история.

— Что он пил вчера вечером?

— Вино.

— Сколько стаканов?

— Не считала.

— Он сильно пил?



Лейтенант тоже, хотя и по-своему, доискивался причины этой смерти, которую никто не мог ему объяснить. Ему нужна была правда, простая и очевидная.

— Он был пьян, когда ложился спать?

Сжав зубы, глядя куда-то вдаль, Люлю отвечала:

— Я никогда не видела его пьяным.

— Он ходил по барам?

Судебно-медицинский эксперт, произведя осмотр трупа, должно быть, сообщил лейтенанту, что Дандюран был алкоголиком; по медицинским канонам, это соответствовало истине.

— Долги у него были? Вы их знаете?

Потом он снова начал добиваться, были ли у Боба любовницы, а у Люлю любовники.

Когда закончился этот бесполезный допрос, Люлю попросила у лейтенанта разрешения увезти тело.

— Зайдите попозже. Сначала я должен доложить прокурору.

Прокурор проводил воскресенье у друзей где-то в окрестностях Корбейя, и его долго пришлось разыскивать по телефону. Когда наконец к четырем часам с формальностями было покончено, лейтенант объявил:

— Теперь, чтобы увезти тело, вам остается только найти санитарную машину, если, конечно, вы не предпочтете похоронный автобус.

Свободную санитарную машину сразу отыскать не удалось, на это ушел еще час. Люлю одна поехала с телом мужа, попросив Рири и Джона не сопровождать ее. Парижане начали возвращаться с уик-энда, по дороге из Фонтенбло машины шли сплошным потоком, к тому же больше чем на четверть часа движение застопорилось из-за дорожной катастрофы, случившейся возле Жювизи. Подъехал полицейский на мотоцикле и потребовал, чтобы их «скорая помощь» взяла раненого; он отступился, только увидев покойника.

Уверен, хотя никто мне этого не говорил, что в тот вечер на террасе «Приятного воскресенья» не танцевали.

— Что она сказала? — спросила жена, когда к обеду я вернулся от Люлю.

— А что, по-твоему, она могла сказать? Кажется, Боб покончил с собой.

— Ты веришь в это?

— Знаешь, очень похоже.

— Почему он это сделал?

— Никто не знает.

Да и что можно знать о других, когда даже о себе не знаешь самого важного?

Помнится, доедая котлету, я пристально смотрел на жену, и она обеспокоенно спросила:

— О чем ты думаешь?

Правду сказать я ей не мог и потому промямлил:

— Так, ни о чем и обо всем.

На самом же деле я думал вот о чем: если бы не Боба Дандюрана, а меня вытащили из Сены за водосливом Родникового шлюза, что бы ответила моя Мадлен на вопрос, который только что задала мне: «Почему он это сделал?»

Я пытался представить, какие ответы дали бы мои знакомые, пациенты, все те, кто более или менее регулярно сталкивается со мной и полагает, что знает меня.

По спине у меня пополз холодок: я вдруг понял, как я одинок в мире.

Все устроила привратница с помощью старухи богомолки, владелицы молитвенной скамеечки. Обе они, похоже, прямо-таки бредят викарием приходской церкви, и стоит кому-нибудь в доме слечь, тут же призывают его, так что человек едва успеет заболеть, как у его изголовья уже оказывается священник.

Мы с Дандюранами никогда не говорили о религии. Знаю только, что к мессе Боб не ходил, Люлю тоже.

Когда моя жена в понедельник вечером приехала на улицу Ламарка, там был аббат Донкёр, выделявшийся среди присутствующих ростом и мощным телосложением; он беседовал с Люлю, а типографщик ожидал окончательный текст извещения о похоронах. Я получил это извещение во вторник к полудню. Адреса на конвертах надписывали все четыре мастерицы. В нем сообщалась, что похороны состоятся в среду в десять утра, заупокойная служба будет в церкви Святого Петра на Монмартре. Интересно, испрашивал аббат Донкёр у епископа разрешение на отпевание, или формальной недоказанности факта самоубийства было для него достаточно, чтобы растворить двери церкви перед бранными останками Боба Дандюрана?

Одна фраза, несколько позже услышанная мной от Люлю, позволяет думать, что она пошла на все это без особого сопротивления:

— Уверена, он и сам предпочел бы, чтобы все было, как полагается, хотя бы из-за его родственников.

Когда на следующий день без четверти десять мы с женой приехали на улицу Ламарка, я, по существу, еще ничего не знал о родственниках Дандюрана. Боб никогда даже намеком не упоминал о них, как, впрочем, и о том, почему и как ему пришлось осесть на Монмартре. Лишь иногда он вспоминал, что пробовал себя в качестве куплетиста, без особого, правда, успеха, в кабаре недалеко от площади Бланш.

Редко выдаются такие великолепные летние дни, как этот. Как и все начало недели, ослепительно сияло солнце, ласковый ветерок тихонько колыхал листву деревьев и легкие платья женщин. У дома покойного, дверь в который была затянута черным, толпились люди; гроб с телом, окруженный горящими свечами, был установлен в лавке, отчего она неузнаваемо изменилась.

Большинство лиц были мне знакомы. Соседи, соседки и даже клиентки Люлю, люди, с которыми Боб встречался в бистро или играл в карты. Жюстен, хозяин кафе на площади Константен-Пекёр, облачился в черную пару и крахмальную рубашку; он был такой нарядный, такой важный, столько рук пожал у дверей, что, казалось, он и есть главное действующее лицо церемонии.

В понедельник я подумал, где же Люлю будет спать две ночи до похорон: ведь в спальне лежит тело Боба. Правда, в ателье у стены стоит диванчик, но он жесткий и узкий, и потом я понимал, что Люлю одну в квартире не оставят.

Когда я поделился этими мыслями с женой, она сказала:

— Все устроено. Люлю пойдет к мадемуазель Берте.

Я, не подумав, удивился:

— Но ведь у нее только одна кровать.

— А разве две женщины не могут поспать на одной кровати?

И все равно это не умещалось у меня в голове. Я попытался представить их обеих в вылощенной до блеска квартирке старой девы, в то время как Боб оставлен в полном одиночестве в задней комнате за лавкой. Нет, я просто не мог представить себе, как Люлю, которая привыкла спать с мужем, прижимается ночью к мощам мадемуазель Берты. И вот такую же неловкость я ощутил на похоронах: меня поразила — очень трудно это выразить словами — какая-то странная смесь почтения к традициям и несоблюдения общепринятых правил.

Извещения о похоронах, свечи вокруг гроба, отпевание в церкви — все это было данью условностям. Нет, меня смущал не труп, оставшийся две ночи за закрытыми ставнями, и не другие детали, которые и заметить-то трудно, настолько они сами по себе незначительны. Но вот, например, когда я вошел в дом, чтобы в последний раз склонить голову перед гробом, Люлю в комнате не было. Я приоткрыл дверь в ателье — так по привычке проскальзывают в театре за кулисы. Там перед зеркалом стояла Люлю, и одна из мастериц надевала ей черно-белую шляпку. Люлю выглядела утомленной, но гораздо меньше, чем я ожидал, и усталость не мешала ей внимательно рассматривать свое отражение.

— Катафалк приехал? — обеспокоенно спросила она.

— Еще нет.

— Ничего, через несколько минут будет. Вы видели, Шарль, какая толпа на улице?

Я привык, что Люлю летом и зимой носит светлое, исключение составляли только черные брюки, которые она, непонятно почему, выбрала для Тийи. А сейчас впервые увидел ее во всем черном. Портнихе пришлось шить платье с учетом погоды, и по причине жары она выбрала очень легкий матовый атлас.

— Луиза, как ты думаешь, не повязать ли мне на шею что-нибудь белое?

И Луиза, мастерица, не вынимая изо рта булавок, ответила:

— Нет, это убьет белую отделку шляпки.

Побывала здесь и парикмахерша, а может, Люлю ходила к ней. Сегодня она была куда рыжее обычного. Естественный цвет ее волос — светло-русый, но, сколько я ее знаю, она красится в рыжеватый, причем год от году оттенок становится ярче. А сейчас Люлю стала прямо огненно-рыжей.

На столе под рукой у нее стояла рюмка спиртного. Не думаю, чтобы она тут оказалась по просьбе Люлю. Вероятней всего, ей сказали:

— Ты должна подкрепиться. Скоро тебе понадобятся силы.

Люлю поинтересовалась:

— Его сестра все еще там?

Я уже знал, что высокая изящная женщина, которую я видел в затемненной лавке у гроба, и есть сестра Боба. Но впечатление на меня произвела не столько она, сколько ее дети, не отходившие от нее, особенно молодой человек лет двадцати, страшно похожий на Боба; пока шло отпевание, я не отрывал от него глаз. Почему-то я ожидал увидеть детей примерно одного возраста с моими и вдруг встретил высокого молодого человека и девушку, которые, похоже, несколько растерялись, оказавшись в новой для них среде.

Адвоката Петреля, мужа сестры Боба, на улице Ламарка не было. К похоронной процессии он присоединился по пути и пробрался в первый ряд к жене. Он невысок, сухощав, волосы с проседью, в петлице розетка Почетного легиона, выглядит неплохо.

И все-таки не так, как жена и дети. Сестра Боба тоже была в черном, но платье ее было настолько элегантно, что сразу стала явственна удручающая вульгарность наряда Люлю.

Я немножко понаблюдал за дочкой Петрелей: это нормальный образчик того, что называется благовоспитанной девушкой.

Но возвращаюсь снова к молодому человеку, которого, как я потом узнал, зовут Жак Поль. Интересно, была ли у него возможность встречаться со своим дядей во время его редких визитов на бульвар Перейр? Может, Боб Дандюран ограничивался только беседами с сестрой? Но если они встречались, то, должно быть, оба, оказываясь лицом к лицу, испытывали некоторую неловкость из-за такого поразительного сходства, редкого даже между родителями и детьми. Пожалуй, любопытно было бы сравнить их поведение. Боб ассимилировался на Монмартре, впитал в себя все его странности, усвоил тамошний жаргон и грубоватую развязность, что на бульваре Перейр, несомненно, расценивалось как дурной тон.

Жан Поль, напротив, обладал элегантною непринужденностью, смягчаемой легкой застенчивостью. Он был высокий, как мать, и все время, пока продолжалась церемония, внимательно и любовно опекал ее.

Присутствовали почти все завсегдатаи Тийи, а с ними и Леон Фраден в черном костюме, черном галстуке и белой рубашке, подчеркивающей терракотовую смуглость его лица и рук.

Когда процессия выстраивалась, произошла, как обычно, небольшая неразбериха, Люлю, естественно, заняла место сразу за катафалком, а распорядитель похорон, которому она не дала времени взять ее под руку, вынужден был сопровождать г-жу Петрель с детьми.

Интересно, Люлю и ее золовка побеседовали в доме? Тогда мне еще ничего об этом не было известно. Оказывается, приехав из Дьеппа в понедельник вечером, когда суматоха была в полном разгаре, г-жа Петрель сразу же подошла к Люлю, и та мгновенно узнала ее — то ли по фотографиям, которые ей показывал Боб, то ли по его описаниям.

— Я его сестра, — представилась г-жа Петрель.

Войдя в спальню, она минут десять молча, без слез постояла у тела, и все это время Люлю не знала, куда себя деть и как себя вести. Уходя, г-жа Петрель ограничилась одной фразой:

— Сообщите мне день и час похорон.

В это утро она не обменялась ни словом ни с кем, за исключением троих мужчин, которых Люлю не знала, — двое были средних лет, а третий весьма преклонного возраста; остальные приветствовали его с большим почтением.

Как только катафалк тронулся, Люлю обернулась: видимо, почувствовала себя неловко, оказавшись в первом ряду с одними только родственниками мужа. Она позвала знаком кого-то, кто шел позади меня, но так как на призыв ее не откликнулись, отыскала мадемуазель Берту и заставила пойти рядом с собой.

Я с женой, Джон Ленауэр, Рири и маленькая г-жа Мийо (ее муж не смог прийти) держались вместе, а вскоре к нам присоединился Леон Фраден.

Не знаю, сколько народу шло в процессии; на глаз, не меньше трехсот человек: когда я обернулся, хвост людей в черном растянулся по улице самое малое метров на сто.

Катафалк медленно полз вверх по авеню Жюно, и все прохожие обнажали головы; потом он проехал по узеньким улочкам Монмартрского холма и вскоре достиг площади Тертр.

Здесь, несмотря на утренний час, на террасах кафе зонтики были уже подняты, а столы накрыты скатертями в красную клетку. У одного кафе стоял автобус с иностранными

туристами, и высокая светловолосая девушка в шортах щелкала фотоаппаратом.

На площади стоял сельский стражник из коммуны Либр в светло-синей блузе, форменном кепи и с барабаном. Он хорошо знал Боба. Им частенько доводилось выпивать вместе. Случайно он явился в форме или нет — не знаю. Но когда гроб вносили в церковь, он вытянулся, как на параде, и ударил в барабан.

Все женщины зашли в церковь, большинство же мужчин осталось на площади, и многие, конечно, разбрелись по ближним барам.

Люлю и мадемуазель Берта оказались в первом ряду по одну сторону гроба, семейство Петрель встало по другую.

Люлю, несомненно, зря покрасила волосы накануне похорон, да и портниха сделала ошибку, выбрав для платья такой фасон, что оно обтягивало фигуру еще похлеще, чем те черные брюки. Может быть, дело было в контрастности солнечного света и черного атласа? Не знаю, но еще никогда Люлю не казалась мне настолько обнаженной: казалось, под платьем на ней ничего нет.

Двери церкви остались открытыми, и уличный шум мешался со звуками органа и песнопениями. Службу отправлял аббат Донкёр, высокий и такой мускулистый и мощный, что сутана и стихарь выглядели на нем, как маскарадный костюм. Только что широкими шагами, словно футболист, он прошествовал по улице следом за мальчиком из хора, несшим крест, громогласно читая стихи Писания и с вызовом поглядывая на прохожих.

Сочетание солнца на улице и полумрака в церкви было прекрасно; под своды, где царил прохлада, тянуло теплым воздухом, приносящим городские запахи.

Мужчины, задержавшиеся на площади Тертр, подросли к выносу святых даров.

На кладбище в похоронном автобусе поехали только близкие и аббат Донкёр со служкой. Так как на Монмартрском кладбище мест уже не было, Боба хоронили в Тиэ.

Эти похоронные машины почему-то напоминают мне шарабаны. Люлю настояла, чтобы мадемуазель Берта ехала с ней. Она, казалось, все выискивала кого-то глазами, и я уверен, что, будь автобус вместительней, пригласила бы остальных трех мастериц.

Произошла сумятица, как в самом начале на улице Ламарка. Стали образовываться группки. Некоторые явно направлялись к столикам на террасах кафе, в толпе уже крутилась цветочница и предлагала букетики. Я, моя жена, Джон Ленауэр, Рири и г-жа Мийо уходили вместе; Джон порывался угостить нас, как вдруг я заметил Аделину, которая одиноко стояла на тротуаре и поглядывала в мою сторону.

Машину я оставил на улице Коленкура. Мне нужно было сделать еще два визита. Я объявил жене и остальным:

— Я вас покидаю.

— И не хотите быстренько выпить глоточек?

Я покачал головой. Аделина направлялась к лестницам на улице Мон-Сени, и через несколько шагов я догнал ее. Если она хотела мне что-то сказать, то такую возможность я ей предоставил.

— Вы на улицу Ламарка? — поинтересовался я.

— Нет. Сегодня мы уже не работаем. Я иду к себе на улицу Шампионне.

— Вы живете с родителями?

Она удивленно, почти с недоумением взглянула на меня.

— Это было бы трудно, даже если бы я хотела. Они живут в департаменте Финистер.

Стоило ей заговорить, и она сразу стала казаться старше: для ее лица и фигуры голос у

нее был какой-то «взрослый».

Пройдя в молчании несколько шагов, она вздохнула, словно констатируя факт:

— Ну вот и кончилось.

Прохожие обгоняли нас. Мы шли не спеша, и она, словно прогуливаясь с кавалером, помахивала сумочкой.

Я чуть не спросил:

— Что кончилось?

Но я понимал ее состояние. С озабоченным видом Аделина продолжала:

— Вы уверены, что он покончил с собой?

— Настолько, насколько в подобных случаях можно быть уверенным.

— Странно, — пробормотала она.

Я чувствовал, что она хочет, но не решается продолжить разговор. Чтобы помочь ей, я задал вопрос:

— Когда вы виделись с ним в последний раз?

Она ответила, со значением произнося каждое слово:

— В субботу после обеда.

Значит, вот она, ее тайна. Я уже интересовался, как Боб провел день, ставший для него последним. Мадемуазель Берта сказала, что, вероятней всего, играл в карты «У Жюстена».

И снова, чтобы поддержать разговор, я спросил:

— У вас?

Аделина кивнула и, помолчав, добавила:

— Я живу в меблированных комнатах, и если мужчина мне нравится, я не против, чтобы он ко мне зашел. Боб иногда приходил, чаще всего в субботу во второй половине дня. Хозяйка знала, но не ревновала.

— А про последнюю субботу ей известно?

— Меня она не спрашивала. А я решила сама не рассказывать из-за того, что случилось на следующий день в Тийи.

— Долго он пробыл у вас?

— Он никогда надолго не оставался.

— Он был в вас влюблен?

Аделина пожала плечами, удивленная, что я задал вопрос, которого она от меня не ожидала.

— Думаю, что не больше, чем в остальных. Он получал удовольствие, выкуривал сигарету, вот и все. Да я на него и не сержусь. Предпочитаю, чтобы все шло вот так, без сложностей.

Я чувствовал, что чего-то она мне еще не сказала, но очень хочет сказать.

— Вел он себя, как обычно?

— Более или менее. Сначала никакой разницы в его поведении я не заметила. Входя, он всегда отпускал какую-нибудь шутку и, собираясь уходить, опять начинал балагурить.

— А в эту субботу?

— Он был какой-то не такой. Мне показалось, что он более пылок, чем обычно. А поднимаясь с постели, он произнес: «Глупо!» — «Что глупо? — спросила я. — Заниматься со мной любовью?»

Он рассмеялся. «Не обращай внимания. Ты славная девочка. И, по правде сказать, заслуживаешь лучшего». — «Лучшего, чем ты?» — «Нет, просто я, как старик, разговариваю

сам с собой».

Одеваясь, он насвистывал. Меня эта его привычка бесила. Потом он закурил сигарету и предложил мне. Я осталась в постели, потому что собиралась поспать, когда он уйдет. Было похоже, что перед уходом ему хотелось поговорить, но он не находил слов.

«В сущности, — начал он, — в мире полно людей, которые...» Он запнулся, и я спросила: «Которые что?» — «Ничего. Все это чересчур сложно. Не стоит об этом думать».

Он подошел к кровати и долго рассматривал меня всю с головы до ног, прежде чем поцеловать. Выражение его лица было так не похоже на обычное, что я немножко даже испугалась.

«Люлю тоже славная, — вздохнул он. — А ты еще такая молодая...» Я рассмеялась: «Из молодых, да ранняя!»

Это, кажется, его рассердило. Он понял, что я посмеиваюсь и над ним, и над собой. Обычно-то он сам первый все вышучивал, даже то, над чем другие не решаются смеяться, к чему большинство испытывает уважение. К примеру, я слышала, как, встретив на улице кюре, он, приподняв шляпу, бросил: «Привет, служака божий!»

Однако я заметила, что из-за моей шутки глаза у него помрачнели. Вы же знаете, у него были светлые, серо-голубые глаза — редкость у мужчин! — но иногда они становились на миг почти черными, точно грозовая туча.

Но скоро это у него прошло. Он поцеловал меня — не в губы, а в лоб. Сейчас я жалею, что тогда захихикала. Если бы я знала, промолчала бы, а то из-за этого поцелуя я на прощание крикнула ему: «Пока, папуля!»

Рассердился он или нет? Не знаю — я видела его со спины; он подошел к двери, распахнул ее и, не обернувшись, вышел. В коридоре остановился, раскурил потухшую сигарету.

— Мне нужно было все это кому-то рассказать. Вот и рассказала. Тогда, в понедельник, когда вы пришли на улицу Ламарка, я подумала, что вы попытаетесь меня понять. Я почти уверена, он уже все обдумал и, когда пришел ко мне, у него было все решено.

Аделина повернулась и серьезно посмотрела мне в лицо.

— Представляете, как это на меня подействовало?

Я понял это и без ее объяснений. Она была последняя, кого Боб держал в объятиях. Входя в мебелирашки, он не мог не знать, что в последний раз будет обладать женщиной. Готов поручиться, что у него уже было все до мелочей продумано. В воскресенье утром его поступок не был вызван мгновенным отчаянием или внезапным импульсом.

Решив умереть, Боб ухитрился придать своей смерти благопристойный вид. Это в его духе. Видимо, он перебрал все способы самоубийства, выискивая такой, при котором его гибель выглядела бы как результат несчастного случая.

Неужели его заботило, что подумают сестра и ее семья? Не знаю. Не думаю. Скорей всего, он устроил этот спектакль с несчастным случаем ради Люлю, чтобы она не казнилась.

Боб никогда не увлекался рыбалкой и вообще был не из тех, кто легко поднимается в четыре или пять утра. Ловля на спиннинг дала ему благовидный предлог уплыть одному в лодке, когда бьеф был почти безлюден. Если бы он захлестнул веревку вокруг лодыжки один раз, а не два, уверен, никто, даже жандармский лейтенант, не заикнулся бы о самоубийстве.

Мы с Аделиной стояли на углу улиц Коленкура и Мон-Сени; прохожие обходили нас, в большинстве это были те, кто возвращался с отпевания.

— Он уже знал, — глядя в землю, произнесла Аделина, — и все-таки лег со мной.

Боюсь, я не скоро снова дам мужчине обнять меня.

Нижняя губа у нее набухла, словно она вот-вот заплачет. Я взял девушку за локоть.

— Вы скоро перестанете об этом думать, — утешал я ее, хотя сам не очень в это верил.

Образ Боба, наверно, не раз еще всплывет в ее памяти и испортит не одно мгновение, которое могло бы доставить ей удовольствие.

Когда я уже собирался прощаться, Аделина решилась на последнюю откровенность, нейтрализовав, правда, иронической улыбкой некоторую сентиментальность своих слов:

— Если бы он вел себя так, каким был на самом деле, а не корчил все время клоуна, я могла бы влюбиться в него.

Эта фраза меня поразила. Я потом часто вспоминал ее, когда думал о Бобе Дандюране. В сущности, в нашем с нею отношении к Бобу было нечто общее.

Нет, я не называл его клоуном, но в то же время никогда особенно серьезно не воспринимал. Да и многие ли из тех, кто встречался с Дандюранами в Тийи или в ателье-гостиной на улице Ламарка, воспринимали его всерьез? Они скорее прислушались бы к словам и мнению Люлю, чем к нему.

В таком городе, как Париж, где в тесном соседстве, точно сельди в бочке, живут четыре миллиона человек, слову «друг» придается несколько иное значение, чем в других местах.

Для меня Боб был таким же другом, как Гайар, как Джон Ленауэр, почти таким же, как супруги Мийо, которые считаются нашими друзьями, поскольку раза два-три приглашали нас на ужин и на партию бриджа. Но, кроме той части их жизни, которую они сами хотят перед нами раскрыть, мы, в сущности, почти ничего о них не знаем.

Мало кому удавалось поддерживать такое количество подобных дружеских связей, как Дандюранам, и причин тому множество, а главная: у них был открытый дом, и все знали, что всегда, в любое время, в любой час, найдут там компанию. А ведь это большая редкость. Часто ли, когда выдается свободный часок, можешь себе сказать: «Загляну-ка к таким-то»?

Дандюраны почти всегда, нет, всегда сидели дома. И никогда не возникало ощущения, что ты их стесняешь. У них можно было не бояться что-нибудь испортить, запачкать. И не думать, не помешал ли ты людям работать или отдыхать. Первой фразой, которую произносил Боб, было неизменное: *«Стаканчик белого?»*

Сколько раз мастерицы, выполняя срочный заказ, работали до позднего вечера, и им ничуть не мешало, что рядом выпивают, может быть, даже подтрунивая над ними.

Дом Дандюранов был как бы нейтральной территорией, вроде кафе, но такого, где каждый мог говорить и вести себя, как ему вздумается, не боясь кого-нибудь шокировать.

Я встречал там людей, принадлежащих к разным социальным слоям, в том числе мирового судью, кругленького человечка с совершенно лысым черепом; он робко усаживался в угол и не вылезал оттуда весь вечер, довольный, что в этой обстановке праздной непринужденности никто на него не обращает внимания. Думаю, что именно для создания такой обстановки Боб время от времени бросал ошеломляющий парадокс, фразу, которая где-нибудь в другом месте выглядела бы кощунством, а то и вольное словцо — здесь, в этом доме, оно никого не вгоняло в краску.

Не так давно я подумал, как же мы с женой попали на улицу Ламарка, и должен сказать, что мне пришлось напрячь память. Незадолго до войны случай привел нас в «Приятное воскресенье», и с той поры мы стали наезжать туда довольно регулярно, если только позволяла погода. Мадам Бланш еще не считала нас своими и не называла меня «мсье Шарль», но посматривала уже благосклонно. Она не зарезервировала за нами постоянную



комнату — этой привилегии удостаивались только старожилы, но тем не менее в последний момент всегда находила, куда нас приткнуть.

Детей тогда у нас еще не было. Вспоминаю, какие взгляды бросала мне жена, когда вечером мы оказывались рядом со столом, где расположились Боб, Джон Ленауэр и еще несколько человек, которые потом перестали сюда ездить.

Бутылки белого вина опустошались с такой стремительностью, что у нас дух захватывало; при этом Джон и Боб соревновались в сумасбродных и диких проделках.

Как-то ночью в субботу, когда мы уже спали, к нам кто-то робко постучался. В пижаме, не зажигая электричества, я открыл дверь и при свете луны увидел Боба, тоже в одной пижаме.

— Мне сказали, что вы врач, — смущенно пробормотал он.

До этого я ни разу не видел его смущенным и не подозревал, что он на такое способен.

— Моей жене плохо. Больше часа у нее страшные боли, и она уже совсем дошла.

Уже тогда они занимали комнату, в которой он провел свою последнюю ночь с субботы на воскресенье.

— Понимаю, что не годится беспокоить врача на отдыхе, но я подумал...

Мой саквояж остался дома. Я надел халат и последовал за Бобом. Люлю лежала под одеялом голая; губы у нее побелели, лицо было мокро от пота, она прижимала обе руки к низу живота.

— У вас такие боли уже бывали?

Она кивнула, взглядом умоляя меня избавить ее от страданий. Я прощупал живот, проверяя, не аппендицит ли это, начал пальпировать печень, чтобы определить ее размеры, и тут Люлю простонала:

— Не то.

Значит, ее уже обследовали при подобных обстоятельствах, и она понимала, что означают мои действия.

— Это выкидыш, — наконец выдавила она, бросив отчаянный взгляд на мужа.

Я попросил его разбудить г-жу Фраден и приготовить грелку. Потом послал с рецептом на машине в Корбей. Боли были непродолжительными, но сильными и шли приступами, совсем как родовые схватки. В промежутках Люлю рассказывала — ей было все равно, с кем говорить, лишь бы успокоиться и отвлечься:

— Это уже пятый, доктор. В последний раз врач меня предупредил, что если такое повторится, я могу умереть.

— На этот раз не умрете, обещаю вам.

— Точно?

— Какой врач вам это сказал?

Она назвала фамилию моего коллеги с улицы Лепик.

— Он велел попросить мужа принимать меры предосторожности, чтобы этого больше не случилось.

— Ваш муж отказывается предохраняться?

— Я ему ничего *не* сказала.

— Почему?

Начался новый приступ, и она скорчилась от боли. Когда отпустило, я спросил:

— Вы хотите ребенка?

Она ответила «да», но прозвучало оно не очень категорично. Очевидно, это только одна

из причин.

— А муж хочет ребенка?

— Он никогда со мной об этом не говорил.

Кажется, я понял, в чем дело, и больше расспрашивать не решился. Она внимательно смотрела на меня, дожидаясь моей реакции. Уверен, она увидела, что я догадался, и была признательна за мое молчание.

После этой ночи она стала питать ко мне абсолютное доверие. Вернулся Боб с лекарствами, которые я выписал, — они помогли хотя бы умерить боли. Он улыбнулся жене и, кажется, был доволен, видя, что я сижу у изголовья, держа ее за руку.

Через две недели мы вошли в их компанию, которую еще недавно находили чересчур шумной, а осенью, примерно в то же время, что и художник Гайар, впервые ужинали на улице Ламарка.

Следующей весной у Люлю снова был выкидыш, не такой, правда, опасный, и ей опять пришлось обратиться к своему врачу с улицы Лепик.

Боб Дандюран спросил меня:

— Это хороший врач?

— Ничего плохого сказать о нем не могу.

Он чрезвычайно серьезно глянул на меня и пробормотал:

— Благодарю.

Еще через год Люлю явилась ко мне в кабинет и сообщила, что опять беременна.

— Вы не против взять меня в пациентки?

После обследования я вынужден был объявить ей, что, вероятней всего, эта беременность кончится так же, как предыдущие.

— Теперь я уже привыкла. Надо только перетерпеть, а потом я уже об этом не думаю.

— Но ведь это очень рискованно.

— Знаю.

Потом, насколько мне известно, было еще четыре выкидыша. При втором мне пришлось из-за осложнений отправить ее в клинику, где она пролежала три недели и, когда вышла, весила не больше сорока килограммов. Она так исхудала, что при своем росточке выглядела совсем девочкой.

— Ничего, Шарль Буду есть за двоих и скоро обрасту. У меня это недолго.

Когда я попробовал поговорить с Люлю, как ее врач с улицы Лепик, она пожала плечами и ответила:

— А иначе не стоит быть его женой.

Моя жена так и не узнала об этой профессиональной стороне наших отношений. Ей было известно только, что у Люлю, как у большинства женщин, бывают иногда недомогания, требующие помощи врача.

Если бы я слушался жену, наши отношения с Дандюранами пошли бы на убыль. С тех пор, как у нас родились дети, у нее появилась тяга к добропорядочному образу жизни, и многое стало ее коробить. Она хмурится от шуток, над которыми несколько лет назад хохотала; нравы Монмартра, вначале забавлявшие ее, теперь стали ужасать.

Сейчас, когда Боб умер, я жду, что жена приведет множество доводов за то, чтобы уменьшить, а то и вовсе прекратить визиты на улицу Ламарка.

Когда я вернулся к своей машине, улица Ламарка была пуста. Обойщики кончали снимать черную драпировку с серебряными блестками. Ставни небесно-голубой лавки были

закрыты, на левой все еще висело траурное извещение.

Мне хотелось пить, и я зашел в кафе «У Жюстена». Жюстен не переоделся, снял только пиджак и галстук и засучил рукава белоснежной рубашки. Подтяжки у него были лиловые.

— Что будете пить? — спросил он меня тем же, наверно, голосом, каким утром выражал соболезнования. — Сегодня я угощаю.

Я заказал вермут с черносмородиновой наливкой. Не знаю, почему я не спросил белого вина, которого мне хотелось. У оцинкованной стойки стояло несколько рабочих в комбинезонах.

— Меня что порадовало: похороны были шикарные. Слышали барабан?

Похоронный автобус, должно быть, уже добрался до Тиэ, где солнце освещает бесконечные ряды могил, а в безоблачном небе гудят самолеты, взлетающие с аэродрома Орли.

— Да, тяжело ей будет! — чокнувшись со мной, вздохнул Жюстен. — Таких людей, как Боб, на всем Монмартре десятков не наберется.

— Он к вам заходил в субботу?

— Да. Часа в четыре. Он, Юбер и я успели сыграть в белот с болванчиком до тысячи пятисот очков. Сидели мы в этом углу, за дверью.

Значит, после Аделины он зашел сюда.

— Ничего особенного он не говорил?

— Нет, как обычно. Разве что вот: он, как всегда, выиграл, но настоял, чтобы заплатить за выпивку на всех.

— Почему?

— Он не объяснил, а спорить никто не стал.

И вдруг я понял, что Боб — Большой Боб, как его называли — во всех кабачках, куда он ходил, пользовался огромным уважением, а завоевать у этих людей уважение нелегко.

— Что бы там ни говорили, я считаю, что он был болен, знал это и не хотел обрекать жену на долгие годы возни с ним.

— К врачу он ходил?

— Про это ничего не знаю. Но он уже давно как-то по-особому разглядывал себя в зеркале, которое за бутылками. Поверьте, когда такой человек, как он, начинает смотреться в зеркало, это скверный признак.

Меня поразила верность замечания. Я поймал себя на том, что глянул в это зеркало, — старое, мутное, оно отнюдь не льстило тем, кто смотрелся в него.

— И часто так бывало?

— Я не раз подмечал это за ним. Он вошел в возраст, когда у мужчины начинаются трудности. Точно говорю, между сорока пятью и пятьюдесятью у мужчин тоже наступает трудный период, как у женщин, а уж про это я знаю, потому как натерпелся с моей половиной...

Жюстен, не спрашивая, налил мне.

— Сейчас они, верно, завтракают в ресторанчике у кладбища. Есть там один, очень недурно кормят. Я в нем бывал несколько раз после похорон клиентов.

И он опять чокнулся со мной.

— Ну, помянем Боба!

Потом перегнулся через мокрую стойку и спросил:

— Сестру его видели?

Я кивнул.

Г-жа Петрель произвела большое впечатление на Жюстена, и весь квартал это заметил.

— Я подозревал, что он не из простых. Как-то вечером был тут один известный адвокат, он иногда заходит пропустить стаканчик. Они с Бобом о чем-то заспорили. Я, конечно, не понял, о чем, но видел, что Боб в этом деле кумекает не хуже адвоката.

Из кухни животом вперед выплыла жена Жюстена с тщательно закрученными седыми кудряшками.

— Не пора ли тебе переодеться? Где твои запонки?

Жюстен достал запонки из стоявшего на полке стакана и, уходя, подмигнул мне.

На следующий день была такая жара, что в школах отменили занятия. На улицах воздух стоял неподвижно, словно вода в пруду; мужчины плелись, неся пиджаки на руке, у женщин на спинах расплывались темные пятна пота; жизнь в Париже замерла, и автобусы, казалось, увязали в плавящемся асфальте, от его удушливого запаха першило в горле. Но больше всего меня удивил регулировщик на площади Клиши: он, как пехотинец на марше, засунул сзади под кепи носовой платок, чтобы защитить затылок от солнца.

В четыре, когда дышать стало совершенно нечем, я оказался неподалеку от Люлю и решил на минутку заглянуть к ней.

Внешне лавка, еще вчера затянутая черной драпировкой, приобрела обычный свой вид, в витринах были выставлены нарядные яркие шляпки; по сравнению с уличным пеклом внутри казалось прохладно.

Ателье тоже обрело привычный облик, правда, с одним небольшим отличием, настолько неуловимым, что и не знаю, как его описать. Я случайно бросил взгляд в спальню. Солнечный луч падал на кровать, на которой валялось несколько платьев, женское белье, чулки, эластичный пояс для чулок. Увидев это, я понял, что на двух мастериц под рабочими халатами почти ничего нет, а на Аделине вообще только красный домашний халатик, слишком короткий для нее; он явно принадлежал Люлю.

Такое могло быть и при жизни Боба, хотя не совсем так, как сейчас. Это трудно объяснить. Люлю, как нередко бывало, расхаживала в одной комбинации; сквозь нейлон просвечивали бюстгалтер и трусики, над которыми нависала складка жира.

Люлю всегда отличалась отсутствием показной стыдливости, почти не сознавая этого, но, конечно, никакой распушенности в ней не было. Однажды на террасе «Приятного воскресенья» ей под блузку забрался летучий муравей, и я помню, как совершенно естественно и непринужденно, словно мать, собирающаяся кормить ребенка, она вынула грудь, чтобы посмотреть, нет ли следа укуса. Отсутствие у нее стыда не имело ничего общего с бесстыдством Ивонны Симар, которая целыми днями совершенно голая загорала на барже, а когда кто-нибудь поднимался на борт, ограничивалась тем, что прикрывала бедра краешком полотенца. Зато уже к концу июня она становилась коричневой, как индуска.

Вполне были одеты лишь мадемуазель Берта, вся в черном с головы до ног, словно это она носила траур, да еще старая Розали Кеван, та самая, что умеет гадать на картах и на кофейной гуще. Старуха примостилась в единственном кресле; веки у нее, как всегда, были красные.

Бутылок красного вина на столе не было, зато стоял кувшин лимонада, где плавали половинки кружков лимона и кусочки льда.

Люлю, занимаясь шляпкой, поздоровалась со мной:

— Как поживаешь, Шарль?

И тут же спохватилась:

— Ой, простите! Сегодня тут перебивало столько народу, что я запуталась, с кем я на «ты», а с кем на «вы».

— Пустяки!

Голос у нее был осипший, и я поинтересовался, не болит ли у нее горло.

— Самую малость. Поэтому я и попросила приготовить лимонад.

И при Бобе в ателье всегда был известный беспорядок. Но пока он был жив, старуха Кеван не посмела бы расслаживаться в кресле, как у себя дома, а уж тем более снять башмаки и поглаживать опухшие ноги. И еще я подумал, что Люлю вряд ли дала бы Аделине свой халатик.

Чувствовалось, что Люлю и мастерицы озабочены массой скопившихся заказов.

— Присядьте, Шарль.

— Я на минутку. Забежал между визитами.

— Кстати, вы не знаете никого, кто ищет машину по случаю? Фраден вчера пригнал нашу из Тийи. В мои годы учиться водить уже поздно, а зря платить за гараж нет смысла. Я лучше уступила бы ее тому, кому она нужна, а не перекупщику, который даст гроши.

— Сейчас мне никто не приходит в голову, но...

— Не к спеху. Если на следующей неделе никого не найду, дам объявление в газету.

Машина ей действительно ни к чему, и она совершенно права, что хочет от нее избавиться. И все-таки это меня покорило — то ли потому, что Боба похоронили только вчера, то ли потому, что Люлю проявила себя слишком уж практичной.

И тут впервые мне пришла в голову вот такая мысль: а ведь Люлю больше не будет проводить воскресенья в Тийи. На поезде туда не доберешься: во-первых, расписание неудобное; во-вторых, от станции надо идти добрых два километра. Любой, да и тот же Джон, с радостью привозил и отвозил бы ее на своей машине, но мне почему-то подумалось, что для Люлю «Приятное воскресенье» уже отошло в прошлое.

Неделю я не появлялся на улице Ламарка. Как-то вечером после ужина, когда мальчики готовились у себя в комнате к экзаменам, я сказал жене:

— Загляну-ка я к Люлю.

В этой фразе не было приглашения сопровождать меня, и жена это поняла. Сперва у нее вырвалось:

— Вот как!

Потом после довольно тягостной паузы жена спросила:

— Она что, звонила тебе?

— Нет.

— Я подумала, может быть, она больна и попросила тебя посмотреть ее.

— В последний раз, когда я там был, она выглядела не лучшим образом.

Чтобы успокоить жену, я взял с собой саквояж: пусть думает, что мой визит имеет хотя бы отчасти профессиональный характер. Но я понимал, что жене это все равно не понравится и что не сегодня-завтра этот вопрос снова возникнет. Саквояж я оставил в машине и постучал в дверь: я видел, что в ателье горит свет.

Открыла мне не Люлю, а мадемуазель Берта.

— Какая приятная неожиданность! — сказала она. — Хозяйка очень обрадуется.

В комнате была такая тишина, что я не поверил своим ушам. Люлю сидела за столом, на котором лежали карты, стояла бутылка «бенедиктина» и две рюмки.

— Заходите, Шарль. Как видите, я обучаю Берту играть в белот вдвоем.

Сегодня красный халатик был на Люлю. Она с утра не причесывалась, волосы спутались, от дневного пота пудра скаталась шариками, лицо выглядело старым и утомленным.

— Стаканчик белого?

Я сделал знак, что не хочу.

— А «бенедиктина»? Это может показаться невероятным, но Берте он пришлось по вкусу, и каждый вечер мы позволяем себе по рюмочке.

Видимо, Люлю что-то уловила в моем взгляде и нахмурилась. В лице у нее появился испуг. И голос был какой-то не такой, когда она спросила:

— Это плохо?

— Почему плохо?

— Не знаю. Бывают минуты, когда мне кажется, что все смотрят на меня с осуждением. Я еще не привыкла.

Не привыкла быть вдовой? Думаю, сказать она хотела именно это, хоть и не уточнила. Словно боясь молчания, Люлю сообщила:

— Вы знаете, Берта согласилась переехать ко мне.

— Она что, отказалась от своей квартиры?

— Нет, разумеется, оставила за собой. Но туда она заходит только иногда, чтобы прибраться.

Я бросил взгляд в спальню. Там стояла одна кровать. Для второй просто не было места. Мадемуазель Берта сидела над картами, словно ожидая, когда я уйду, чтобы продолжить игру. Вот уж никогда бы не мог себе представить, что она будет играть в белот да еще ликер при этом потягивать. Теперь ей не хватает только закурить! Но разве не удивительней то, что она заняла в постели Люлю место Боба?

— Как ваше горло?

— О, лучше! Я делала компрессы. А как ваша жена?

— Благодарю вас, хорошо.

Я пришел с намерением расспросить о Бобе, но присутствие старой девы меня как-то сковывало.

— В воскресенье мы обе поедem на кладбище — положим на могилу цветы. Я заказала надгробный камень, очень миленький и простой.

И Люлю принялась искать эскиз, который изготовитель надгробий набросал на обороте счета.

— Ну как? Ему бы понравилось, правда?

Жене я солгал. Я сказал:

— Беспокоит меня ее здоровье. Она совершенно не следит за ним. Время от времени надо будет заглядывать к ней и заставлять лечиться.

Интересно, поверила ли мне жена? Может, решила, что у меня виды на Люлю.

На улицу Ламарка я заехал через несколько дней и на этот раз вышел из дому после ужина: мне действительно надо было зайти к больному.

В карты там на этот раз не играли — принимали гостей: Кеван и старого художника Гайара, который что-то доказывал, едва ворочая языком. Я пробыл у них всего несколько минут. Провожая меня через лавку, Люлю шепнула:

— Вы, кажется, недовольны?

— Ну что вы!

— Из-за мадемуазель Берты?

— Уверяю вас, Люлю...

— Я не могу оставаться ночью одна.

— Понимаю.

Я крепко пожал ей руку, чтобы успокоить, и в последний момент она чмокнула меня в

обе щеки.

— До скорого?

— Да.

— Правда?

Обещание я исполнил, когда жена и дети уехали отдыхать в Фурра. Я смогу вырваться из Парижа всего дней на восемь-десять в середине августа: находить хорошую замену становится все трудней, и я из-за этого теряю каждый год по несколько пациентов.

Я был прав, решив, что Люлю не станет больше ездить в Тийи. Как-то вечером на площади Клиши я встретил Джона.

— Как Люлю? — поинтересовался он.

— Уже несколько дней не видел ее.

— В прошлую субботу я зашел к ней и предложил отвезти в «Приятное воскресенье». Как я понял, такого желания у нее нет. Похоже, она попала под влияние вонючки, которая с ней живет.

И Джон грустно добавил:

— Не та она, что при Бобе.

Видимо, таково было мнение большинства обитателей улицы Ламарка: я заходил дважды с интервалом в несколько дней и заставлял Люлю и мадемуазель Берту одних. Правда, время было летнее и многие наши приятели выехали кто на море, кто в деревню.

Мне удалось поговорить с Люлю наедине. Правда, пришлось набраться терпения. Пришел я около девяти. Почти час мы вяло, увязая в долгом молчании, беседовали о том о сем, и я чувствовал, что Вонючке, как прозвал ее Джон, хочется спать. Ложиться она привыкла рано и вставала чуть ли не первой в квартале, когда еще даже бутылки с молоком у дверей не стоят.

Люлю поняла меня, так что подавать ей знак не было нужды, и мы продолжали беседу, словно и не собирались ее заканчивать. В половине одиннадцатого мадемуазель Берта наконец встала и с недовольной физиономией объявила Люлю:

— Если не возражаешь, я лягу.

Она надеялась, что я уйду, но я сделал вид, что не понял намека.

— Спокойной ночи, доктор. Она очень утомлена, и я не думаю, что ей на пользу ложиться так поздно.

Едва дверь спальни с сухим щелчком захлопнулась, мы с Люлю одновременно улыбнулись и потом еще некоторое время слышали, как старая дева, раздеваясь, что-то бормочет вполголоса.

— Ревнует, — шепотом сообщила Люлю.

— Ко мне?

— Ко всем, кто сюда приходит. Раньше ревновала к Бобу и все время мучалась. А теперь, когда завладела домом... — И Люлю махнула рукой, словно отгоняя докучную мысль. — Не стоит об этом думать. Так все-таки лучше, чем просыпаться ночью в полном одиночестве. Что вы мне хотели сказать?

Люлю захватила меня врасплох.

— Да ничего особенного. Последнее время я много думал о Бобе.

— Я тоже.

— Увидев на похоронах его сестру и племянников, я понял, что значительной части его жизни я просто не знаю.



Люлю все поняла и, когда я уже собрался извиниться за свое любопытство, остановила меня.

— Я знаю, вам хочется расспросить меня. Вы никак не можете понять, почему он покончил с собой, да?

Слово «покончил» потребовало от нее известного усилия, но все-таки она его произнесла.

— Каждый день я задаю себе тот же вопрос. Иногда мне кажется, что я уже почти догадалась, но потом все снова запутывается. Вы же помните, он был такой жизнерадостный.

— А когда вы оставались вдвоем, тоже?

— Он был один и тот же и на людях, и наедине со мной. Порой мне даже хотелось сказать ему, чтобы он не тратил себя на меня. Для мужчины это редкость, Женщины обычно жалуются, что мужья обаятельны с кем угодно, только не с ними.

— В последнее время он не изменился?

— Пожалуй, стал нежнее. Например, часто называл меня девочкой.

Я тут же вспомнил Аделину.

— Наверно, с самого начала не надо мне было сходиться с ним, но все закрутилось слишком уж круто — я даже не понимала, что происходит. Да ничего лучшего тогда я и не видела. Вам известно, Шарль, что я была буквально нищей?

Люлю бросила взгляд на дверь спальни, подумав, как и я, что мадемуазель Берта, вероятно, подслушивает.

— Наплевать. Сколько людей и без того знает, откуда я вышла, да я своего прошлого ничуть и не стыжусь. Родилась я в Сен-Мартен-де-Шан, маленькой деревеньке в шести километрах от Невера. Моя фамилия Понсен. Отец был дорожным рабочим, а когда потерял место, потому что выпивал, стал работать поденщиком на фермах.

Она нашла в ящике три фотографии и протянула мне. Снимки были скверные: лица у всех получились кривые. Отец и мать сидели. Он, скрестив руки, смотрел прямо в объектив; она положила руки на колени. Их окружало шестеро детей: четыре дочери, два сына.

— Нас могло быть семеро, да младшая сестренка умерла сразу после рождения.

— Ваша мать жива?

— Живет в том же самом доме в Сен-Мартен, и мы все ежемесячно посылаем ей понемножку денег. Сколько ей лет? Уже не помню. Надо посчитать. Во всяком случае, за восемьдесят. Вам не надоело?

— Нет.

— Странно, что вам это интересно. Давно я не рассказывала о своей семье.

Люлю сообщила, кто чего достиг. Старший брат Анри — жандарм в Орийаке, у него четверо детей, одна дочка недавно вышла замуж. Второй брат — парикмахер в Марселе. Одна сестра, Югетта, вышла за некоего Ланглуа, они держат кафе в Нанте.

— Это те, которые чего-то добились, — заметила она. — Мирей — она на два года младше меня — несколько лет была в публичном доме в Базье, а сейчас живет в Алжире и, похоже, обзавелась собственным заведением. Мать в письмах больше всего пишет про нее: Мирей посылает самые крупные переводы. Жанина, которая на год старше меня — вот она на фото, такая толстая, — никогда не была замужем, всю жизнь работает горничной в одной гостинице в Невере. У нее двое детей, она отдала их на воспитание матери. Когда я встретила с Бобом, я была вроде этих моих сестричек.

Если мадемуазель Берта и подслушивала какое-то время под дверью, то сейчас легла в постель: оттуда доносилось покашливание, которым старая дева выражала недовольство.

— Кашляй, старушка, кашляй! — улыбнувшись, бросила Люлю и спросила: — Не хотите выпить?

— Благодарю, нет.

— Продолжать?

Она взглянула на часы, стоящие на камине.

— Я забыла, что вашей жены нет в Париже.

Люлю догадывалась: жена была бы недовольна, что я так поздно задержался на улице Ламарка.

— Сколько вам было, когда вы оставили деревню?

— В Париж я приехала пятнадцати лет. В семьях вроде нашей детей отдают в услужение, как только они кончают начальную школу. В тринадцать я уже нянчила детей у одного неверского аптекаря. Когда мне стукнуло пятнадцать, одно семейство переезжало в Париж и взяло меня с собой. Остальное можете себе представить, недаром же вы врач. Самое удивительное, что за два года я ни разу ни влипла. Потом моего хозяина, который был на государственной службе, послали на Юг. А я осталась. Сменила подряд полдюжины мест. И в девятнадцать лет практически оказалась на улице.

— Тогда вы и познакомились с Бобом?

— Нет. Это произошло примерно через два года, в тысяча девятьсот тридцатом. Я тогда ютилась в Латинском квартале, жила то с одним студентом, то с другим. Иногда по месяцу, иногда всего ночь.

Я решил и задал вопрос:

— Тогда у вас и случился первый выкидыш?

— Скажите лучше: аборт, это будет правильней. Я чуть не умерла, и студент медик, который мне помог, так струхнул, что начал говорить о самоубийстве. Потом я встречала его фамилию в газетах: он стал известным врачом.

— Вы были в него влюблены?

— Ни в него, ни в остальных.

Да, Люлю была откровенна.

— Думаю, мне вообще это не нравилось. Но приходилось этим заниматься — что еще оставалось. Как-то в июле, в пору экзаменов, я сидела на террасе «Аркура», на бульваре Сен-Мишель. Я была с приятелем, румынским студентом, уезжавшим на каникулы на родину. Июль и август были для меня самыми скверными месяцами: приходилось даже ловить туристов на Больших бульварах, и однажды меня арестовали; до сих пор удивляюсь, каким чудом я тогда выпуталась. В ту пору я выглядела такой молоденькой, что инспектор полиции, перед которым мы проходили, сжалился надо мной. Вы не будете сердиться, если я налью себе рюмочку?

Снова сев за стол, Люлю поинтересовалась:

— Я вас не шокирую?

— Ничуть.

— Признайтесь, вы ведь обо всем этом догадывались?

— Да.

— Сейчас расскажу, как я встретила с Бобом, которого тогда еще никто так не называл. Значит, мы с моим румыном сидели на террасе. Дело шло к вечеру, народу было

уже много. Мимо нас прошел высокий молодой человек без шляпы: волосы светлые, чуть с рыжинкой, глаза серые. Глаза его меня сразу поразили, к тому же одет он был в тон: костюм, галстук, даже носки — все было серого цвета. На секунду он остановился, пожал руку моему приятелю, бросил на меня рассеянный взгляд и направился к бару. Это был еще совсем не тот Боб, какого вы знали. Тогда он был похож: на своего племянника, которого вы видели на похоронах.

«Кто это?» — спросила я приятеля. «Понравился?» — «У него необыкновенные глаза». Мой румын улыбнулся, повернулся к бару, где его знакомый, поставив локти на стойку, пил в полном одиночестве с видом человека, решившего накачаться.

«Подожди, я сейчас». Я смотрела, как они беседовали вполголоса. Боб несколько раз оглянулся на меня; видно было, что он колеблется. Наконец, пожав плечами, заплатил бармену за выпитое и без энтузиазма последовал за румыном.

«Позволь представить тебе Роберта Дандюрана. Завтра он сдает последний экзамен на юридическом». Меня мой румын отрекомендовал куда короче: «Люлю».

С полчаса они говорили о профессорах и однокашниках, не обращая на меня внимания, лишь иногда угощали сигаретой. Потом румын взглянул на часы и встал. «Мне пора. Допивайте без меня и постарайтесь не поссориться». Больше я его никогда не видела.

Дандюран сперва сидел хмурый, словно его заманили в ловушку. «Вы давно с ним знакомы?» — поинтересовался он. «Три недели». — «Умнейший парень. Держу пари, когда-нибудь он станет премьер-министром у себя на родине».

Боб все время перекидывал ногу на ногу, точно и так и этак ему было неудобно, и вот тогда-то я обратила внимание на его носки.

«Если у вас есть дела поинтереснее, ради бога, не задерживайтесь из-за меня, — предложила я. — Я же знаю, завтра у вас серьезный экзамен».

Я ведь не подозревала, что у него в голове, да он совсем и не думал обо мне. Уже тогда его отличала характерная черта — края верхней губы приподнимались, словно он посмеивался над собеседниками и над собой.

«Ваше имя Робер?» — «Да». — «А вас никогда не звали Бобом?» — «Нет. А что?» «Просто, мне кажется, вам бы это пошло».

Это было глупо, я понимала, но надо же о чем-то говорить.

Произнеся это, Люлю улыбнулась так жалко, что я едва удержался, чтобы не взять ее за руку; мне стало стыдно за ту суровость, с какой я судил о ней последние недели. Дверь спальни приотворилась, и мадемуазель Берта высунула голову в бигуди.

— Это, конечно, не мое дело, но мне кажется, доктор, что в интересах ее здоровья...

— Ложись. Я сейчас приду.

Дверь захлопнулась, но старая дева продолжала что-то бурчать.

— Вот видите! Я больше не имею права лечь когда хочу. А мне так охота поговорить!

— Вы ее слушаетесь?

— Иначе она весь день будет дуться, разговаривать не станет. Однажды так уже было. В прошлое воскресенье мы весь день с утра до вечера провели вдвоем, не перемолвившись ни словом, и все потому, что я отказалась пойти с нею к мессе. И она тоже не пошла. Ладно, доскажу в другой раз. Мне хочется, чтобы вы знали все. Вы увидите, что Боб был куда сложнее, чем казался, и, может быть, поймете, что с ним произошло: ведь вы лучше меня разбираетесь в людях. Хочу только, чтобы вы знали, что к решению, принятому им тогда, я не причастна. Произошло чудо. Разве это не чудо, что с той минуты, когда на террасе

«Аркура» он сел на плетеный стул рядом со мной, мы никогда не расставались, не провели порознь ни одной ночи, за исключением трех недель, что я была в клинике? Даже когда он поехал в Пуатье повидаться с отцом, он взял меня с собой и на ночь вернулся в отель. А мы тогда не были женаты.

Я поднялся, собираясь уходить.

— А знаете, Шарль, в каком году мы поженились?

Я не имел представления. Люлю сама только что сказала, что живут они вместе с 1930 года.

— В тридцать девятом, через три недели после объявления войны. Как только ее объявили, на следующий день Боб подал в мэрию заявление о вступлении в брак и страшно боялся, что его мобилизуют, прежде чем мы поженимся.

— Его призвали?

— Через два месяца, взяли в санитары; ему повезло: он отступал до самой Дордони и не попал к немцам в плен. Ох, я ошиблась! Весь этот период, понятно, мы спали не вместе, хотя я несколько раз приезжала в Эна, где он стоял, а в Перигё прибыла всего спустя пять дней после него.

Раздался сухой кашель мадемуазель Берты.

— Спокойной ночи, Шарль. Не буду вас больше задерживать.

И прежде чем закрыть за мной дверь, она произнесла:

— Спасибо вам.

Я не решился слишком скоро появиться на улице Ламарка, боясь, как бы Люлю не подумала, что я пришел ради продолжения ее истории. Но, после того как она упомянула Пуатье, я сделал открытие: вероятней всего, Боб был сыном профессора Дандюрана, декана юридического факультета и автора философского трактата, которым до сих пор пользуются во всех университетах.

Долгие годы у меня и в мыслях не было как-то связать старого профессора и мужа Люлю. Мне пришлось перелистать ежегодник университета, из которого я узнал, что Жерар Дандюран вышел в отставку во время войны, а умер в 1950 году в возрасте семидесяти трех лет.

Выходит, Боб ездил в Пуатье на похороны? И, взяв с собой жену, возвратился к ней на ночь в отель? Теперь мне стал понятней контраст между Петреями и остальными, кто пришел проводить гроб. Та троица, что выразила соболезнование сестре Боба, — очевидно, друзья семейства; старик, с которым так почтительно здоровались, наверно, знаменитый адвокат или бывший профессор.

Мне не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, будто все это время я целыми днями думал о Дандюране и Люлю. Несмотря на отпускной период, у меня хватало хлопот с больными. Ел я теперь в ресторане, и это давало мне возможность встречаться с друзьями, которых остальную часть года редко удавалось видеть; у большинства из них жены и дети тоже были на отдыхе.

В одно из воскресений я повез в Тийи старого приятеля, который заведует отделением в больнице Кошена<sup>[3]</sup>: я давно обещал ему показать живописную гостиницу. Но получилось так, что Джон Ленауэр уехал на несколько дней в Англию к жене, Рири сопровождал Ивонну Симар и ее подругу Лоранс в Довиль, где их дом мод устраивал показ. Кроме Мийо, здесь остались одни рыбаки, и даже нельзя сказать, что нас хорошо кормили.

— Ты знал профессора Дандюрана из Пуатье? — поинтересовался я.

— Его дочь вышла за моего друга.

— За Петреля?

— Да. Первоклассный парень. Жан Поль, их сын, дружен с моей дочкой.

— Робер Дандюран несколько недель назад утонул в пяти километрах отсюда, у самой плотины.

— Сын старика Дандюрана?

— Думаю, да.

— Никогда не знал, что у него был сын. Несчастный случай?

— Самоубийство.

— Мне его сестра ничего не сказала. Правда, они все лето в Дьеппе. У них великолепная вилла на высоком обрыве над морем.

— Как ты думаешь, можно с нею встретиться, когда она вернется?

— Нет ничего проще. Я приглашу поужинать их и тебя с женой. Они возвратятся в Париж в середине сентября.

В следующую среду пришлось поехать к больному, живущему как раз напротив лавки Люлю. Было три часа. Люлю в лавке разговаривала с клиенткой и увидела меня через витрину. Я уже не мог не зайти. Она показала глазами на ателье, сказав:

— Я сейчас приду, Шарль.

Не знаю, почему я уставился на Аделину, которая сшивала две разноцветные ленты. Она подняла голову и, похоже, была удивлена, то ли увидев меня здесь — я вошел бесшумно, — то ли выражением моего лица. Каково было это выражение и вообще о чем я думал — сказать не берусь. Кажется, я улыбнулся ей, она в ответ тоже. Сегодня Аделина была в рабочем халате. На улице лило как из ведра. Мадемуазель Берта, словно упрекая, спросила:

— Вы не присядете?

Не понимаю, что мне пришло в голову. Остальные мастерицы стояли спиной ко мне. Слышно было, как Люлю провожает клиентку к дверям. Глядя Аделине в глаза, я беззвучно, одними губами, выделяя каждый слог, выговорил:

— Суббота?

И повторил еще дважды:

— Суб-бо-та?

Аделина поняла и в знак согласия опустила ресницы. В лавке я пробыл всего несколько минут. Мне стало стыдно перед Люлю за то, что я сделал. Я пообещал зайти завтра вечером, но когда пришел, они играли в белот вчетвером и попивали «бенедиктин». В гостях у них были Розали Кеван, на дряблое тело и красные глаза которой тяжело было смотреть, и какая-то женщина средних лет, представленная мне не то как Музон, не то как Нузон.

Люлю дала мне понять, что ей страшно жаль и она просит прощения. Правда, пробыл я там достаточно, чтобы не создалось впечатления, будто я сбегаю. Было еще только девять, и домой возвращаться не хотелось.

Включая зажигание, я еще не знал, куда поеду, и вдруг направил машину на улицу Клиньянкур. Я подумал, что там, наверно, не так уж много мебелирашек, вроде тех, которые описала Аделина, и что, возможно, она дома.

По случайности я с первого раза остановился у нужного дома.

— Сорок третий номер, пятый этаж, — с овернским акцентом сообщил субъект без пиджака, сидевший за конторкой.

— Она у себя?

Он не удостоил меня ответом.

Свет на лестнице и в коридорах был тусклый. Слегка запыхавшись к пятому этажу, я уже начал раскаиваться, что пришел сюда. Подойдя к двери с номером 43, я услышал женский голос и собрался убраться восвояси, решив, что место занято. Именно так я и подумал. Однако мне показалось, что говорила не Аделина, и, действительно, в тот же миг я услышал ее голос.

Из соседней комнаты кто-то вышел, и от растерянности я не нашел ничего лучшего, как постучаться.

— Войдите!

Аделина лежала на кровати в трусиках и бюстгальтере; гостья сидела на стуле, положив ноги на подоконник и задрав юбку выше колен.

— Вот, проходил мимо... — пробормотал я.

Выглядел я, должно быть, комично. Обе женщины переглянулись. Гостья встала, постояла и заявила:

— Ну ладно, мне надо постирать чулки.

Аделина с любопытством смотрела на меня. Не вставая с кровати, она попросила:

— Закройте дверь на задвижку.

Когда я повернулся, она иронически улыбалась.

— Что, не могли дождаться субботы?

Даже если бы я и мог объяснить, как пришла мне в голову эта мысль, она бы все равно не поверила.

— Забавный народ мужчины, — заявила она тоном человека, понимающего что к чему в этом мире.

— Интересно, что думает ваша подруга?

— Что мы занимаемся любовью. Вы ведь для этого пришли?

Пришлось ответить «да».

Все так же лежа, она изогнулась дугой и, подняв сперва одну, потом другую ногу, стащила с себя трусики и бросила на стул.

— А вы разве не разденетесь?

Своей грудью Аделина, видимо, была недовольна, потому что бюстгальтер не сняла.

Внезапно она хихикнула.

— Над чем вы смеетесь?

— Так просто. Мысль одна мелькнула.

Она не сказала какая, и когда минут через сорок пять я сел в машину, я был недоволен собой, думаю, как никогда в жизни.

Почему бы не быть до конца искренним? У дома я протянул руку, чтобы взять с сиденья саквояж. Его не было. А я помнил, что брал саквояж с собой. Значит, его украли, пока машина стояла на улице Клиньянкур. К счастью, у меня был еще один. Но украденного было очень жаль: его подарила мне мама в день, когда я защитил диссертацию. Заявлять в полицию я не стал.

Я много раздумывал над тем, что у меня произошло с Аделиной, и если бы не пропажа старого верного саквояжа из рыжей кожи, прослужившего мне двадцать лет, то ничуть не жалел бы, что приехал на улицу Клиньянкур. Как у всякого мужчины, у меня и раньше бывали приключения, более или менее благопристойные, но это, как мне кажется, подвернулось в самый подходящий момент, чтобы у меня открылись глаза. Говорить об этом пока еще рано. Мыслям, чтобы они отстоялись, тоже нужно время. Но я не смог не заметить, что при всем несходстве облика и, естественно, характеров в Аделине и Люлю есть нечто общее, и, кажется, начал понимать Боба.

Жене пришлось написать о краже саквояжа, но про улицу Клиньянкур я умолчал — написал, что это случилось, когда машина стояла на улице Друо около ресторанчика, куда мы с женой иногда ходили обедать. Я солгал, чтобы обеспечить себе алиби, понимал это и злился на жену за дополнительное унижение.

Но почему знать? Может быть, эти, на первый взгляд чрезмерные, предосторожности имели куда более тесную связь с Дандюраном, чем могло показаться.

Дня через два-три мне пришла в голову мысль пригласить Люлю куда-нибудь поужинать, тем более что это позволило бы нам поговорить, не подвергаясь слежке надоедливой мадемуазель Берты. А кроме всего прочего, сказал я себе, Люлю будет невинно сменить на вечерок обстановку, и снял уже трубку, чтобы позвонить ей, но вдруг представил, какие осложнения могут из-за всего этого произойти. Раньше мы с женой и Дандюранами частенько выбирались куда-нибудь вместе. Но сейчас, в ее отсутствие, жена сочла бы мой выход с Люлю нарушением всех и всяческих приличий. Я прямо-таки слышал, как она мне выговаривает: «Ты, вообще, подумал, что скажут люди?»

И я дрогнул. В подобных случаях я всегда отступаю: правда, несколько раз мне удавалось настоять на своем, но кончалось это тем, что мне приходилось раскаиваться. Я довольно долго выжидал и не появлялся на улице Ламарка. Тут пришло письмо от жены: она спрашивала, заявил ли я о краже, и напоминала фамилию комиссара уголовной полиции, с которым мы познакомились у наших друзей.

В воскресенье вечером я пошел к Люлю; она сидела в углу и читала журналы, а мадемуазель Берта в другом углу штопала чулки.

Интересно, заметила Люлю, как, войдя в ателье, я на миг нахмурился? Если да, то, надеюсь, не поняла — почему. В одном из прошлых посещений я отметил, что в доме стало пахнуть как-то не так. Но в тот раз была старуха Кеван, и я решил, что пахнет от нее. Сегодня же установил, что повинна в этом не старая гадалка, а, вероятней всего, мадемуазель Берта, а может быть, и Люлю, переставшая следить за собой. Я заметил, что у нее под ногтями траур и шея вроде тоже не особенно чистая.

На этот раз я не отказался от предложения выпить белого вина, несколько бутылок которого осталось еще со времен Боба. Люлю было приятно угощать меня, и сама она тоже выпила. Видимо, они с мадемуазель Бертой в этот день поссорились и, возможно, опять из-за мессы; я чувствовал, как в них все нарастает раздражение, и минут через двадцать Люлю сказала таким тоном, какого я, пожалуй, никогда у нее не слышал:

— Берта, если хочешь спать, можешь идти.

Та, собрав в корзинку чулки и клубки шерсти, прошипела:

— Благодарю за позволение. Я все поняла.

Мы наблюдали за ее демонстративным уходом в спальню и еще некоторое время слышали, как она в ярости рассказывает там.

— Шарль, вам не кажется, что я все-таки имею право иногда поговорить с человеком без свидетелей?

Я кивнул, а Люлю поинтересовалась:

— Что поделявали после нашей последней встречи?

Это был обычный вежливый вопрос, но я почувствовал, что в нем таится некий намек, и к тому же заметил в глазах Люлю странный блеск. Я не сразу понял, в чем дело, а, поняв, кажется, залился краской. Видимо, Аделина разболтала в ателье, что я приходил к ней. На это, очевидно, и намекала Люлю; тут же, чтобы снять неловкость, она осведомилась:

— Много больных?

Потом я узнал, что Аделина действительно рассказала в подробностях, как все было. Результат ее болтливости оказался довольно неожиданным. Либо я очень ошибаюсь, либо Люлю почувствовала себя на равной ноге со мной. А ведь для нее, как и для большинства, врач — существо несколько особенное.

Несмотря на долгие годы дружбы, она питала ко мне инстинктивное почтение, которое заставляло ее держать себя в рамках и скрывать кое-какие черты своего характера.

Сейчас, должно быть, ей было приятно обнаружить, что, при всем при том, я такой же мужчина, как любой другой, и так же испытываю иногда потребность заглянуть к девушке, и так же веду себя в подобных обстоятельствах неловко и смешно.

Я даже не рассердился на Аделину. Правда, мне было несколько неудобно перед остальными мастерицами, и некоторое время я избегал появляться на улице Ламарка днем.

На этот раз мне трудно точно воспроизвести рассказ Люлю, потому что продолжила она не с того места, на котором ее прервала раздраженная мадемуазель Берта, да к тому же была в другом настроении. Мне Люлю показалась какой-то апатичной, словно она впала в уныние и подумывает, а не послать ли все к черту.

Я намеренно воспользовался выражением, которое она неоднократно повторяла в тот вечер. Послать все к черту — это значит, насколько я понял, покончить с не дающими покоя мыслями, с мучительными вопросами насчет Боба и себя; еловом, говоря несколько утрированно, покончить с Бобом.

Вот уже несколько недель она не выходит из дому, слоняясь из спальни в ателье, из ателье в лавку, ее окружают одни и те же лица, и старая дева стала для нее мрачным подобием ангела-хранителя.

— Я даже за покупками не выхожу. Берта все взяла на себя, а не то посылает ученицу. Я уже дней десять уличные туфли не обувала.

Тут-то я и пожалел, что, убоясь возможных упреков жены, не пригласил Люлю поужинать в ресторан.

— Я начинаю думать, что люди правы, когда утверждают, что половая тряпка салфетке не пара. Нельзя уходить из своего круга и связываться с людьми, отличными от тебя.

— Надеюсь, вы не о Бобе говорите?

— Почему не о Бобе?

— Но вы же знаете, Люлю, что вы оба были счастливы в течение двадцати лет.

— Двадцати трех.

— Вот видите!



— Будь он действительно счастлив, он не покончил бы с собой. Так все думают, и первая — его сестра, я знаю это; поняла по тому, как она смотрела на меня. Жена мясника и та считает так, хотя и говорила, поглаживая мне руки своими потными лапищами: «Ты тут ни при чем, девочка. Тебе не в чем себя упрекнуть. Он сделал это, потому что был неврастеником». Но это неправда, вы же знаете.

— Нет, Люлю, не знаю. Он не был моим пациентом. Я ни разу не осматривал его.

Она неуверенно посмотрела на меня.

— Значит, он и вправду мог быть неврастеником?

Для нее, как и для большинства, в этом слове есть что-то неясное и пугающее; поэтому я ничем не рисковал, ответив:

— Не исключено.

— Мне хочется, чтобы вы знали: я пальцем не шевельнула, чтобы он сошелся со мной, а тем более, чтобы женился. Переменился он не из-за меня. Его родные наверняка считают, что это я оторвала его от них и заставила вести бог знает какую жизнь.

— В прошлый раз вы рассказывали, как познакомились с ним на террасе кафе на бульваре Сен-Мишель.

— Да, в «Аркуре». На нем был отлично выглаженный костюм, элегантно завязанный галстук, и выглядел он молодым человеком из хорошей семьи. Точь-в-точь как его племянник! Он до того похож на Боба, что, увидев его, я едва удержалась, чтобы не разреветься, и даже мысль у меня мелькнула, не его ли это сын. Вы понимаете, что я хочу сказать? Чувствуется, что это серьезные молодые люди, родители которых имеют прочное положение и которые не путаются невесть с кем. Конечно, пока учатся, они гуляют и заводят подружек, которых, когда становятся важными персонами, встретив на улице, не узнают.

В голосе ее звучала горечь; она спохватилась, покраснела и со слезами на глазах совершенно другим тоном сказала:

— Прости, Шарль. Я становлюсь злой.

В тот вечер она несколько раз «тыкала» мне.

— Кем был твой отец? — внезапно спросила она.

Я отвечал со смехом:

— Булочником в Дижоне.

Это была правда, и Люлю тоже рассмеялась.

— Это я над собой. Знаешь, бывают дни, когда я уже ничего не понимаю. Я ведь тебе говорила, что на следующий день Боб должен был сдавать последний экзамен? Мне было странно, что накануне экзамена он шатается по кабакам, да и в самом начале я удивилась, видя, как за полчаса он заказал подряд три аперитива. Он и меня заставлял пить. А у меня не хватило здравого смысла отказаться.

«Послушай, ты не боишься, что завтра придешь на экзамен с похмелья?» — спросила я его.

В ту пору я всем «тыкала». Да и сейчас не очень изменилась. Он мне ответил, только я забыла — что, потом встал, уплатил официанту и заявил: «Сперва пошли поедим».

Повел он меня в «Перигорскую харчевню» на углу бульвара Сен-Мишель и набережной; мы устроились на втором этаже у окна, и я любовалась, как на улице темнеет и в синеватых сумерках фонари становятся все ярче, а силуэты прохожих чернее.

Сперва-то я подумала, что он хочет выставиться передо мной: обед был изысканный,

кушанья самые дорогие, вина самые лучшие.

«Давно вы знакомы с Константинеску?» Я расхохоталась. «Три недели. Я же тебе говорила». Боб уже был под мухой, но еще соображал, что делает.

«Вот ведь умора, что вы свалились на меня именно сегодня». Я, естественно, поинтересовалась, почему. «А вот увидите. Впрочем, ничего не увидите, потому что видеть будет нечего. Но все равно это будет умора».

Уже тогда это было его любимое словцо. Правда, произносил он его еще вроде как нарочно. Да к вообще вел себя весь вечер как-то неестественно. Мы поужинали, и он заказал арманьяк в дегустационных бокалах, для него это, видно, имело непонятный мне смысл.

Во всем, что он делал, говорил, что-то крылось, и однажды, когда он хитро взглянул на меня, я спросила: «Слушай, а ты, случайно, малость не чокнутый?»

Понимаете, у многих, особенно у юнцов, возникает потребность повыламываться перед девушками. Знала я одного такого: после трех-четырех рюмок он стал раздеваться на мосту Сен-Мишель, крича, что сейчас бросится в Сену...

Внезапно Люлю побелела как мел: вспомнила, что Боб тоже в конце концов утопился в Сене.

— Шарль, я хочу выпить. Можно?

Почему бы и нет? Я налил ей.

— Это плохо?

— Что тут плохого?

— Не знаю. Я больше не знаю, что мне думать, что делать. Сегодня утром я встала с твердым намерением раз и навсегда вышвырнуть мадемуазель Берту за дверь. Затеяла ссору, а через несколько минут, когда та пригрозила уйти, со слезами стала просить прощения. Уверена, что она меня ненавидит и считает виновной в смерти Боба.

Люлю забыла понизить голос, и старая дева могла ее услышать. Я приложил палец к губам.

— Плевать мне! Ей известно, что я думаю. Когда бутылка опустеет, найду в буфете другую: я хочу напиться, как в тот раз, когда мы встретились. Он тоже был пьяный. Мы оба напились. Уж не помню, сколько баров мы обошли, и я заметила, как он покраснел, опрокинув локтем бокалы двух соседей. Тут я догадалась, что у него нет привычки пить, но он заставляет себя.

«Видишь ли, девчушка, — с торжественным видом заявил он, — случаю угодно, чтобы ты разделила со мной самую важную в моей жизни ночь».

Он был всего на четыре года старше, но покровительственно называл меня девчушкой.

«В этот час в своих кроватях дрыхнут четыре пожилых господина, трое с женами, а четвертый один, потому что он холост, хотя иногда и заставляет кухарку ложиться с собой. Но тс-с!..»

Я захихикала. Он обнимал меня за талию, и мы, пошатываясь, брели посередине улицы в поисках еще открытого бара.

«Завтра утром эти четыре господина встанут, побреются — прошу прощения, побреются только трое, у четвертого борода — и отправятся — все четверо! — кто пешком, кто на автобусе, кто в метро, на юридический факультет с намерением задать несколько вопросов благовоспитанному молодому человеку по имени Робер. А Робера там только и видели! Слушай, неужели ты еще не поняла, что Робера там не будет?»

Ты же знаешь, Шарль, как это бывает. Сам был студентом и водился с девушками вроде

меня. После всего выпитого у меня вдруг появилось материнское чувство к этому парню из хорошей семьи, и я решила, что мой святой долг — не позволить ему совершить глупость, в которой он будет раскаиваться всю жизнь.

«Ну и что из этого выйдет?» — спросила я. «А ничего». — «То есть как это ничего?» — «Я не стану ни адвокатом, ни следователем, ни председателем суда». — «Кем же ты станешь?» — «А кем угодно».

Мимо проезжали такси, и Боб величественно повел рукой: «Хотя бы шофером такси. Водить я умею, Париж знаю хорошо».

«А твои родители?» — «Мать у меня умерла. А отец сейчас спит в нескольких сотнях метров отсюда, в «Отель д'Орсе», где он всегда останавливается, когда приезжает в Париж». — «Ты не из Парижа?» — «Из Пуатье, департамент Вьенна, улица Кармелитов, двадцать семь. Двадцать восьмого в десять мой отец приехал сюда на поезде и завтра утром будет прохаживаться по факультетским коридорам, а встречные будут ему кланяться и бляеть: «Господин профессор...» — «У тебя отец профессор?» — «И к тому же декан юридического факультета в Пуатье».

«Послушай, Робер... — я даже забыла назвать его Бобом, как звала весь вечер. — Постарайся выслушать меня. Ты где живешь?» — «А ты?» — «Нигде. Не обо мне речь».

Я и вправду нигде не жила; последние две недели спала в номере Константинеску, там и оставались мои вещи.

«Ответь, где ты живешь? — не отставала я от Боба. — Тебе обязательно надо поспать. Сунешь два пальца в рот, выпьешь горячего лимонада, примешь две таблетки аспирина, и завтра утром...»

А он поднял меня посреди перекрестка и стал взасос целовать в губы, а я болтала ногами, чтобы он меня отпустил. Ни с одним мужчиной я не чувствовала себя такой маленькой.

При воспоминании, каким высоким был Боб по сравнению с ней, Люлю расплакалась, и я сунул ей чистый платок, который у меня всегда лежит в наружном кармане пиджака.

— Как глупо! Двадцать три года прошло, а я, рассказываю и переживаю, словно все это было вчера.

Она протянула руку к стакану.

— Можно?

Вторую бутылку доставал из комнатного ледника я и обнаружил там тарелки с остатками еды. Почему у меня вызвала отвращение половинка котлеты с застывшим жиром?

— Закончили мы в «Куполе», в баре. Я продолжала читать мораль, уцепившись за его руку, а он все это время хмуро смотрелся в зеркало. Клянусь вам, Шарль, все, что я говорю, чистая правда. Я даже перерыла его карманы, надеясь найти ключ: на нем иногда бывает название гостиницы.

«Слушай, глупышка, еще за полчаса до того, как ты увидела меня входящим в «Аркур», я уже принял бесповоротное решение и, чтобы сжечь мосты, постановил как можно скорее надраться до чертиков».

«Ну почему ты это делаешь?»

Не помню, что он говорил. Ему пришлось срочно оставить меня и кинуться в уборную. Я спросила у бармена: «Вы его знаете?» — «В первый раз вижу. И часто он так?» — «Я тоже впервые вижу его».

Отсутствовал Боб довольно долго, а когда вернулся, веки у него были красные,

воспаленные, как у Розали Кеван.

«Теперь пошли», — сказала я. «А зачем? Все равно это ничего не изменит». — «Тогда выпей хотя бы чашечку черного кофе».

И я мигнула бармену, который уже подставил чашку под кофеварку.

«Коньяк! — приказал Боб. — Два коньяка! В больших рюмках».

Я уже начала бояться. Бармен, похоже, тоже испугался, как бы Боб не затеял скандала, и поспешил выполнить заказ. Потом, не помню уж с какой стати, мы пили пиво, затем «куэнтро».

Мне запомнилась фраза, которую он беспрерывно повторял: «А я даю тебе честное слово, что ты здесь ни при чем!»

Вы верите мне, Шарль? Верите, что я сделала все возможное, чтобы он пошел спать, а утром явился на экзамен?

— Верю, Люлю.

— Вам не кажется это неправдоподобным?

— Мне — нет.

— И верите, что он решил отказаться от карьеры?

— Он вам не объяснил, почему?

— Я часто пробовала расспрашивать его, но он только отшучивался. Смотрел на меня — я страшно не любила эту его манеру смотреть — одновременно и ласково, и покровительственно, точно я маленькая девочка, не способная понять некоторые вещи. «Пусть это тебя не тревожит, малышка. Я сделал то, что решил, и никогда не раскаивался в этом. Все остальное не имеет значения».

Шарль, у вас есть сигарета?

Люлю нервно закурила, но тут же бросила сигарету на пол и придавила ногой.

— И чего я терзаю себя этой давней историей? Я ведь не навязывалась ему. Он был совершеннолетний и знал, что делает. Бог весть, как бы все обернулось, если бы он напал не на меня. Остаток ночи я пронянчилась с ним, хотя чувствовала себя, может, даже хуже его.

Любопытно было видеть, как в ней нарастает и вспыхивает давнее возмущение, так не соответствующее ее характеру.

— Вы вдвоем пошли к нему? — спросил я, чтобы отвлечь ее.

— Да, на улицу Принца. Боб жил не в гостинице, у него была целая квартира — чудесная спальня, гостиная, служившая ему кабинетом, и ванная. Еще на лестнице он с трудом сдержал рвоту. Вбежал в спальню, там его вывернуло, но он успел со злостью крикнуть, чтобы я не смела смотреть. Вы же знаете, Шарль, как это бывает. Сперва он выставлял меня за дверь, а через секунду умолял остаться. Я отыскала электроплитку и сварила кофе. Сняла с него галстук, пиджак, ремень, усадила на край кровати, разула.

«Забавная ночка, а?» — прохрипел он. «Завтра полегчает». — «Скажи, ты когда-нибудь в жизни работала?»

Люлю запнулась и, внезапно покраснев, заглянула мне в глаза.

— Нет, надо рассказать хотя бы раз в жизни и лучше всего вам. В ту ночь он произнес самые жестокие слова, какие я от него слышала. Никогда я ему их не припоминала, но они преследовали меня всю жизнь. И хоть на следующий день ни он, ни я не вспоминали подробностей прошедшего вечера и ночи, уверена, что эти слова запомнились ему, не раз потом всплывали в памяти, и он страдал из-за них.

Он мне сказал...

Люлю подавила рыдание и каким-то посуровевшим голосом с явным вызовом произнесла:

— Так вот. Он сказал: «Ты когда-нибудь в жизни работала по-настоящему? Я имею в виду, не передком?»

Я стерпела. Не завелась. Не расплакалась. Пусть после этого кто-нибудь посмеет сказать, что я ввела его в заблуждение насчет себя! Я рассмеялась. Сняла, чтобы не запачкать, платье и принялась отмывать блевотину с ковра.

Так все и произошло. Соседи сверху постучали в пол, чтобы мы вели себя потише.

«Экая мерзость!»

Кто? Что? Что он хотел сказать? Мерзость — работать передком? Не знаю. Да и знать не хочу. Ему явно еще было худо, но он сел на кровати, заставил меня раздеться, долго смотрел и единственное, что сказал: «Какая ты крохотная». И, кажется, добавил: «Умора!»

Теперь видите, насколько это было душещипательно. Он и в унитаэ-то пописать не смог бы, но все равно попытался взять меня. Ничего у него не получилось, но он продолжал упорствовать, а соседи над нами начали уже свирепеть.

В конце концов он уснул. Я долго не спала, раздумывала, не лучше ли будет уйти. Но решила остаться. На ночном столике был будильник, и я поставила его на восемь. Было без десяти пять. В восемь я поднялась и приготовила кофе. Когда у него экзамен, я не знала, но мне было известно, что обычно они начинаются в десять. Так что времени хватало.

Перед тем как разбудить его, я надела комбинацию.

«Боб!.. Пора... Уже восемь...»

Он открыл глаза и с удивлением, словно не узнавая, уставился на меня.

«Чего ты меня разбудила?» — наконец спросил он. «Восемь часов... У тебя экзамен...»

И вот тут-то, Шарль, я получила доказательство, что решение он действительно принял еще до встречи со мной. Вид у него был на море и обратно. Но взгляд — как у человека, который соображает, что говорит.

«Я не собираюсь идти на него». — «Но...» — «Ложись».

Вдруг он почуял аромат кофе.

«Дай-ка глоточек».

Опершись на локоть, он выпил почти всю чашку, потом поинтересовался: «Уходить собралась?» — «Почему?» — «Комбинацию надела». — «Слушай, а нет никакого способа заставить тебя передумать?» — «Ты насчет экзамена? Отвечаю в последний раз: нет, нет и нет! Еще спросишь, разозлюсь. А теперь на твой выбор: или ложись, или выметайся».

Мы с Люлю приканчивали вторую бутылку.

— Как ты догадался, я легла, иначе бы меня здесь не было. Мы опять уснули. А потом я услышала сильный стук в дверь и толкнула Боба.

«Кто-то тебя добивается».

Он протер глаза, допил холодный кофе, оставшийся на дне чашки, и взглянул на часы.

«Это мой отец», — невозмутимо сообщил он.

Стучали уже минуты три, если не больше: я не уверена, что проснулась сразу. С той стороны пытались повернуть дверную ручку, но я ночью опустила защелку.

«Робер!» — раздался мужской голос.

Я видела, что Боб колеблется, отозваться или нет.

«Я знаю, что ты дома. Привратница слышала, как ты пришел». — «Да, папа». — «Ты откроешь?» — «Секунду...»

Это были последние минуты в его жизни, когда он еще оставался маленьким мальчиком, и я при этом присутствовала. Возможно, в тот момент он пожалел, что я не ушла. Несколько лихорадочно Боб натянул брюки, набросил домашний халат, потому что спал без пижамы.

«Через другую дверь...» — произнес он.

То есть через дверь, которая вела из гостиной на лестницу. Я старалась одеваться бесшумно, надеясь потихоньку улизнуть.

«У тебя в спальне кто-то есть?» — «Да, папа». — «Женщина?» — «Да». — «Ты из-за этого не явился на экзамен?»

Была половина двенадцатого. Мне оставалось только надеть платье. Я рассчитывала выскользнуть, держа туфли в руке.

«Нет, не из-за этого», — ответил Боб голосом, какого никогда больше я у него не слышала.

Вопреки моим опасениям отец Боба не пришел в бешенство. Самого старика я не видела, слышала только голос. Он мне понравился; мне всегда казалось, что я могла бы полюбить отца Боба. Дверь между гостиной и спальней осталась приоткрытой. Мне почудилось, что он прислушивается, и я боялась пошелохнуться.

«Я долго думал и решил, что никогда не стану ни адвокатом, ни судьей». — «Почему ты не предупредил на факультете?» — «Виноват». — «Часто тебе случалось напиваться?» — «Этой ночью я был пьян в первый раз». — «Ты давно знаешь эту женщину, которая у тебя в спальне?» — «С половины седьмого вчерашнего дня». — «Тебе нечего мне сказать?» — «Сегодня — нет, кроме одного: мне очень горько, что я разочаровал тебя». — «Ты пошлешь извинения своим профессорам?» — «Обещаю». — «Со мной приехала твоя сестра. Я сказал ей, что вечером мы втроем пойдем в «Фуайо» отпраздновать твой успех. Она ждет меня в отеле». — «Извинись перед ней за меня». — «Когда я тебя увижу?» — «Я приеду в Пуатье повидаться с тобой, как только буду способен объяснить, почему я это сделал».

С минуту они молчали, и мне было уже слишком поздно удирать. Я услышала, как повернулась ручка двери, потом раздалось покашливание.

«До свидания, сын».

«До свидания, папа».

Дверь открылась, закрылась. Послышались медленные шаги вниз по лестнице, и я, если бы осмелилась, могла бы, подбежав к окну, увидеть отца Боба, когда он выходил из дома.

Боб не сразу возвратился ко мне. Я раздумывала, что мне делать, и тут он вошел в комнату; он был куда спокойнее, чем я ожидала, в уголках губ дрожала легкая полуулыбка. Вам знакома эта его улыбка, но тогда она была еще не такая, как потом. В ту пору в ней еще чувствовалась какая-то нервозность, неуверенность.

Боб с удивлением взглянул на туфли, которые я держала в руке, и вмиг все понял.

«Свари-ка кофе, — попросил он. — В тюбике еще остался аспирин?» — «Две таблетки». — «Давай их сюда».

Он даже не поинтересовался, не нуждаюсь ли и я в аспирине.

«Есть хочешь?» — «Нет», — «Я тоже. Тогда будем весь день спать. А вечером пойдем поужинаем».

Мы занялись любовью, потом он уснул, а я лежала с открытыми глазами, и мне стало грустно. Спал он до шести. Мы по очереди приняли ванну, и это его рассмешило.

«Не знаю почему, — вдруг заявил он, — но мне безумно хочется устриц».

Тут рассмеялась я. И мы оба принялись хохотать. Нас с ним ничего пока не связывало. Стоило нам посмотреть друг на друга, что-нибудь сказать, все равно что, — и мы прыскали со смеху.

«Где твои вещи?» — «У твоего друга». — «Он мне не друг, просто знакомый».

Внезапно Боб испытующе взглянул на меня.

«Ты его любишь?» — «Нет». — «Но он тебе нравится?» — «Нет». — «А меня любишь?»

Я смеясь ответила «нет» и была удивлена, с какой серьезностью он впился в меня взглядом. Я тут же добавила: «Я пошутила». Но Боб отрывисто бросил: «Нет».

Через секунду он пробормотал: «Ладно, пошли поедим устриц и заберем твои вещи».

Дверь резко распахнулась, когда мы меньше всего этого ждали; видимо, мы оба вздрогнули, словно пойманные с поличным. На сей раз мадемуазель Берта не высунула голову в бигуди — она вылезла из спальни, облаченная в чудовищный фиолетовый халат; от злости нос у нее совсем заострился.

— Вы что, решили провести вместе всю ночь, делаясь вашими грязными тайнами?

Крылья носа у Люлю задрожали, кончик побелел, а по лицу пошли пунцовые пятна. Какой-то миг обе женщины были готовы вцепиться друг в друга.

Но Люлю сдержалась и только хрипло произнесла:

— Совершенно верно! И на это у меня еще по меньшей мере два часа.

Старая дева опешила, открыла рот и мгновенно исчезла за дверью.

— Вы не боитесь, что она уйдет? — спросил я, слыша в спальне стук выдвигаемых и задвигаемых ящичков.

— Не надейтесь! Выжить ее труднее, чем кота утопить.

Мадемуазель Берта не могла этого не слышать: Люлю не дала себе труда понизить голос. К моему великому удивлению, возня за дверью мгновенно прекратилась, скрипнули пружины кровати и наступила полная тишина.

Последнюю неделю августа и три первых сентябрьских дня я провел в нескольких километрах южнее Ла-Рошели, в Фурра, куда моя жена ездила на каникулы, еще когда была ребенком. По два раза в день я купался в море; из-за илистого дна у него здесь желтоватый цвет. Ел мидий, устриц и морских гребешков. Когда не было дождя, часами сидел в шезлонге — то в тени, то на солнце, а как-то вечером, проходя мимо казино, зашел и рискнул поставить на счастье несколько франков. Ну и, наконец, иногда играл с сыновьями; правда, они принимали меня в игру, только чтобы доставить мне удовольствие, относились ко мне снисходительно, не как к товарищу, и почти не скрывали, что ждут не дождутся, когда можно будет улизнуть к своей «компании», к сверстникам.

Почти каждый день я слышал про украденный саквояж; в конце концов он превратился в какое-то уникальное, невосполнимое сокровище.

— Ты виделся с комиссаром, о котором я тебе писала?

— Не было времени.

— Неужели в августе было так много больных? Как там Люлю?

— Не очень.

— Все переживает?

— Трудно сказать. Она вообще сильно изменилась. Боюсь, махнула на себя рукой.

— Ты часто виделся с нею?

— Раза два-три.

— У нее все так же четыре мастерицы?

— Теперь с ней живет мадемуазель Берта.

— Постоянно?

— Да.

— И они спят в одной постели?

Из предосторожности я переменял тему: мне было что скрывать, или, как, бывало, говорила моя мама, недоверчиво глядя на меня, было в чем себя упрекнуть, и это касалось не только истории с саквояжем, украденным на улице Клиньянкур.

Дело в том, что я еще дважды ходил к Аделине, а если считать тот раз, когда не застал ее, то даже трижды, причем в последний раз я, подобно Бобу, пришел к ней в субботу после полудня — в последнюю субботу, которую провел в Париже, перед тем как сесть на поезд и поехать в Фурра.

Если бы я был способен объяснить, зачем я это делал, то, вне всякого сомнения, тем самым сумел бы осветить один из наиболее темных закоулков человеческой психики. Полузакрыв глаза и рассеянно наблюдая за шумными играми детей, я сидел на пляже и все время задавал себе один и тот же вопрос — не потому, что меня терзали угрызения совести, а из чистой любознательности, пытаюсь понять себя и других.

Что заставляло меня возвращаться к Аделине?

Как медик могу утверждать: тело у нее не красивое, но и не безобразное, пожалуй, нездоровое — чувствуется нехватка гемоглобина, отчего кожа у нее бледная, вялая и слишком прозрачная; сложение щуплое, выпирающие ребра, слишком широкий для ее возраста таз. Груды обвислые, с темными сосками, по форме похожие на груши; взяв их в руки, я вдруг подумал о козьем вымени.



По мне, она не очень-то старалась и в постели была, скорее, инертна, вероятней всего, оттого, что получает мало удовольствия от любви. В эти минуты она не столько соучаствовала, сколько наблюдала за мной; подозреваю, что так же она ведет себя и с другими партнерами.

Почему же она соглашается? Почему ни в первый, ни в оба последующих раза ни секунды не колебалась? Я задавал себе и эти вопросы. Да, действительно, ей более или менее приятно. Но, мне думается, больше всего ей хочется почувствовать себя, пусть даже на несколько минут, совершенно необходимой мужчине.

Я не уславливался с ней, когда приду снова; всякий раз решал в последний момент, почти против воли. И каждый раз она встречала меня одинаковой, чуть насмешливой улыбкой.

— А, это вы!

Правда, в третий раз она сказала:

— А, это ты!

И добавила, словно это казалось ей забавным:

— Ну что? Опять разобрало?

Я неотступно думал о ней, раз приходил туда. Мне даже пришлось изменить распорядок дня. А выбрал я ее потому, что она воображает, будто у меня есть и другие возможности; впрочем, это соответствует истине.

Интересно, считает ли она себя красавицей? Не имеет значения. Для нее важно то, что она может меня возбудить, а еще важнее, что я врач, то есть мужчина, который каждодневно видит наготу женщин.

Чем неуклюжей я вел себя с нею, тем, убежден, она бывала довольней. Вместо того чтобы думать о наслаждении, она наблюдает за мной и моей растерянностью в тот миг, когда совершается чудо, повторяющееся миллионы раз в сутки, и женское тело оказывается для мужчины важнее всего на свете.

Возможно, я ошибаюсь. Но, в любом случае, она встречалась со мной бескорыстно: денег я ей не давал. Во второй приход я принес коробку шоколадных конфет, которую она положила на стол, даже не взглянув, а в последний раз подарил шелковый шарфик, но и к нему она отнеслась безразлично.

Ну а я? Я-то почему? Да и не только я, а любой другой мужчина, оказывающийся в подобной ситуации, пусть даже он никогда и не признается в этом? Нет, с моей стороны это не любопытство: женщин я видал достаточно, и таких, как она, и получше сложенных, знаю, как они ведут себя, и это меня больше не интересует. И как бы там ни было, проявлением порочности это тоже не назовешь — не говоря уже о том, что в лексиконе медиков такое слово отсутствует.

Я спрашиваю себя: а вдруг это протест против общества? Не по той же ли причине сытый человек, который имеет кредит у мясника и обедает в лучших ресторанах, идет, гонимый древним первобытным инстинктом, на охоту и убивает, как голодный дикарь? Разве не изобличает в нем дикаря то, что он вешает головы своих жертв на стены и гордится ими, точь-в-точь как американский индеец подвешенными к поясу скальпами врагов?

Я за Аделиной не ухаживал. Ни о чем ее не просил. В тот первый раз она уже лежала на кровати и ей достаточно было стащить с себя трусики.

Меня не интересовало, да и сейчас не интересует, что она обо мне думает, какое составила мнение и не позвала ли после моего ухода подругу, чтобы вместе с нею

посмеяться надо мной.

Когда в жизни общества придается такое огромное значение естественнейшему акту, происходящему между мужчиной и женщиной, и в то же время вокруг него воздвигается множество барьеров, тогда на периферии общества должно допускаться существование — это своего рода предохранительный клапан — таких вот Аделин, исключений из общего правила.

Я не собираюсь утверждать, будто, приходя на улицу Клиньянкур, я тем самым протестовал против общества и мстил ему. И все-таки, и все-таки... Вырваться хоть на несколько минут из установленных рамок — значит дать себе право вести себя, как животное.

Я понимаю, поведение Боба этим не объяснишь. Тут все куда сложнее. И хотя то, что я сейчас расскажу о девочке в красном, не имеет прямого отношения ни к Бобу с Люлю, ни к моим хождениям к Аделине, но тем не менее я безотчетно впутал ее в свои тревоги.

Я часами наблюдал, как она играет на пляже в волейбол или веселится в компании с другими девушками и юношами. Ярко-красный купальник обтягивал ее, словно он из резины; вне всякого сомнения, сложена она была лучше всех в Фурра, ее тело казалось настолько зрелым, что возникало искушение погладить его, как спелый плод.

На мне, слава богу, были темные очки, так что жена не могла определить, куда я смотрю, и пересказывала сплетни, услышанные в казино, где дамы устраивают чаепития, говорила о наших детях, болтала о всякой чепухе.

Три дня я, если можно так выразиться, мысленно обладал этой красавицей, и вот как-то вечером, выйдя из виллы, мы встретили женщину с дочерью-подростком, в которой я узнал девушку в красном; она была в цветастом ситцевом платье, жена поздоровалась с ней, назвав Мартиной.

— Сколько ей? — полюбопытствовал я.

— Двенадцать. Просто не верится. Выглядит она куда старше.

Я покраснел и потом весь вечер грыз себя. Ведь, с точки зрения правил общества, правил игры, мысли у меня были, прямо скажем, преступные. Представляю себе свою реакцию, окажись я отцом этой девушки и узнай, что у какого-то мужчины возникли мысли вроде моих.

Видимо, человек, соглашаясь жить в обществе, поскольку оно все равно существует, в то же время, с тех пор как оно существует, тратит массу изворотливости и энергии на борьбу с ним.

Про Боба и Люлю я тоже не забывал. Ведь начав именно с них, я бог знает каким кружным путем добрался до этих довольно-таки путаных соображений. Что же касается моей жены, ее мнение было просто и категорично:

— Я считаю, что Дандюран был человек слабый. Добрый, но слабый. Богемная жизнь Монмартра засосала его, и он превратился в неудачника, каких вокруг пруд пруди.

— Ты думаешь, он совершил самоубийство из-за недовольства собой и жизнью, которую вел?

— Очень возможно. Он был достаточно умен и образован, чтобы осознать свое падение. Это слово я решил проглотить молча.

— Как же ты тогда объяснишь, что он дожил до сорока девяти?

— В молодости человек еще питает иллюзии, верит, что все изменится. И только постарев, понимает тщетность надежд.

— Ты думаешь, он не любил Люлю?

— Не уверена. Некоторые мужчины предпочитают оставаться с женщиной, нежели признаться, что ошиблись. Все-таки, согласишься, она ему не пара.

Я предпочел не спорить. Бедная Люлю, я предал тебя, но у меня не хватило духу, сидя на залитом солнцем пляже и любуясь плывущей яхтой, затеять спор, который мог бы принять весьма острый характер.

— Знаешь, — предложил я, — давай пошлем ей открытку.

— Кому?

— Люлю. Ей будет приятно.

Открытку мы подписали оба. Слова жены насчет того, что Боб не любил Люлю, напомнили мне одну его фразу, пересказанную Люлю. Было это в тот вечер, когда она так резко осадил мадемуазель Берту. Она с вызовом объявила, что у нас есть еще два часа; действительно, когда я собрался уходить, уже начинало светать, и мы незаметно для себя осушили третью бутылку вина.

Прелесть этого вечера, точнее — ночи, состояла еще и в том, что Люлю не считала себя обязанной без передышки занимать меня разговором. Она сидела на диванчике, а я в кресле, и у нас случались такие долгие паузы, что несколько раз я подумал, уж не уснула ли она.

— Мы уже больше трех недель жили вместе, как вдруг он ни с того ни с сего заявил: «Знаешь, когда тебе надоест, можешь с чистой совестью уйти от меня».

Люлю растроганно улыбнулась.

— Я дура была тогда. Вся изревелась, решив, что он собирается бросить меня. Стала собирать чемодан.

— И чем все кончилось?

— Не помню. Наверно, постелью.

— Это произошло на улице Принца?

— Нет. Там мы прожили только до конца месяца: за квартиру все равно было уплачено. Боб решил переехать в меблированные комнаты на бульваре Батиньоль, в двух шагах от площади Клиши. В других районах он не искал. У него были какие-то свои соображения.

— Он работал?

— Нет. Необходимости не было. Потом я узнала, что они с сестрой унаследовали от матери три фермы во Вьенне, и Боб получал половину дохода от них. Долго на эти деньги было бы не прожить, но они позволили ему осмотреться.

— Он и сейчас имеет долю в этих трех фермах?

Я не решился вымолвить: «Он до самой смерти имел долю...»

— Нет, что ты! Когда я с ним познакомилась, он уже собирался отделаться от них. И знаешь, почему?

Я догадывался, но решил: пусть сама скажет.

— Потому что они мешали ему чувствовать себя свободным. Он часто повторял, что эти деньги не в счет — они достались ему случайно, и он хочет от них избавиться.

— Он мог бы их подарить.

Люлю с недоумением посмотрела на меня. Боюсь, в этот миг я был близок к тому, чтобы навсегда утратить ее доверие: в душе она так и осталась крестьянкой.

— Кому?

В голосе ее зазвучало раздражение.

— Да кому угодно. Сестре, например.

— Так сестра и зять, когда поженились, как раз и откупили у Боба его долю. Эти фермы, должно быть, и сейчас принадлежат им; даже не представляю, сколько они стали стоить после войны и девальваций.

— Что же он сделал с деньгами?

— Часть — которые получил от сестры авансом — потратил. На оставшиеся купил эту лавку.

Меня всегда занимало, как они провели первые годы совместной жизни, а когда я узнал, что Боб — сын профессора Дандюрана, любопытство мое разгорелось еще сильнее.

— Короче, вы недолго прожили в Латинском квартале?

— Боб не любил Левый берег<sup>[4]</sup>.

Для первой остановки на житейском пути он выбрал из всех районов Парижа тот, где сходятся границы владений мелких буржуа, рабочих, чиновников, а также богемы и бездельников и где жизнь течет особенно бурно.

— Мы снимали маленькую комнатку на шестом этаже с водопроводом, но лифта в доме не было.

— И что вы делали целыми днями?

— Мы много гуляли. Без меня он никуда не ходил, хотя ни разу не спросил, куда бы мне хотелось пойти, не устала ли я, не хочу ли пить. Он привык, что я рядом, и, случалось, часами напролет молчал, а то вдруг говорил, говорил, ничуть не интересуясь моими ответами.

Мы заходили в бистро, самые крохотные, самые темные: Боб любил их атмосферу, любил слушать разговоры людей за стойкой — рабочих в спецовках, окрестных лавочников, заглянувших промочить горло. Ели мы обычно в закусочных для шоферов, там всегда пахло жареным луком и меню писалось на грифельной доске.

Вечерами он сидел в комнате и писал.

— А что писал?

— Мне он говорил — всякие заметки для памяти. Только много позже признался, что это был роман.

— Он хотел стать писателем?

— Ему хотелось заниматься чем-то для себя, все равно чем. Хотелось описать Париж и простых парижан так, как он их видел. Однажды в баре на площади Бланш, кивнув на бармена, он уронил: «А я бы не прочь работать за стойкой, как этот».

И очень разобиделся, когда я расхохоталась, — я-то была уверена, что он шутит.

А как-то в другом кабаке, глядя на трех каменщиков, пьющих красное вино, заявил: «У них одна из лучших профессий в мире. Не бойся я высоты...»

Он читал объявления в газетах, некоторые вырезал и складывал — про запас.

— А о своей семье он никогда не говорил?

— Всего раз, незадолго до праздников, числа десятого-пятнадцатого декабря. Мы переехали в гостиницу на улице Лепик — Боб называл ее самой человеческой улицей на свете. Комнаты на втором этаже хозяйка сдавала — как она выражалась, «на время» — девицам, которые начиная с трех часов дня поднимались туда на несколько минут с клиентом. Проституция еще не была запрещена. Мы их всех знали в лицо, и когда бывало особенно холодно, случалось, что Боб ставил им по стаканчику грога в кабаке на углу.

Он купил спиртовку, и мы могли готовить в комнате. Это не разрешалось. Когда спиртовка горела, одному из нас приходилось караулить на площадке, а потом надо было

настежь открывать окно, чтобы выветривать запахи пищи.

Боб отнес страниц пятьдесят, уже написанных им, машинистке, которая работала на дому; гуляя по бульвару Рошешуар, мы увидели белую табличку, сообщавшую, что здесь принимаются заказы на перепечатку. Выйдя от машинистки, Боб объявил: «Завтра едем в Пуатье». — «Я тоже?» — «Тоже». — «Уж не собираешься ли ты представить меня отцу?» — «Ты подождешь меня в отеле. Это займет час или два, не больше».

Вас, Шарль, это удивляет. Вы привыкли, что он всегда шутил, всех веселил. Но в двадцать четыре года такое с ним бывало редко, а уж если он начинал шутить, я или не понимала его шуток, или они мне казались слишком желчными. Иногда я спрашивала его: «Почему ты никогда не расскажешь, о чем думаешь?» — «Потому что ни о чем не думаю». — «Так не бывает, чтобы ни о чем не думать». — «Ну, раз я не думаю, значит, бывает».

В Пуатье мы поехали дневным поездом, и, выйдя из вокзала, Боб вдруг остановился перед ювелирным магазином.

«Чуть не забыл: у сестры день рождения!»

Он купил ей золотую заколку для волос, гладкую, без украшений. А когда расплачивался, заметил дешевое колечко со светло-голубым камешком и орнаментом вокруг и тоже купил; приказчик хотел вернуть его вместе с заколкой, но Боб сделал знак — дескать, не надо — и, не глядя, протянул колечко мне.

«Это мне?» — «Да».

Колечко чудом пришлось мне впору. Оно и сейчас у меня, только стало мало, верней сказать, пальцы у меня распухли. Надо бы на днях отдать его растянуть. Это был первый подарок, который мне сделал Боб. Потом он отвез меня в отель, но сам пробыл там недолго: только умылся да причесался. Помню еще, что он почистил туфли полотенцем.

Он обещал прийти через час-другой, а вернулся после полуночи; я, зареванная, лежала ничком на кровати в полной уверенности, что его семья добилась, чтобы он навсегда остался с ними. Наверно, я уже тогда любила его. Мне вот думается, а не полюбила ли я его в первый же день, на террасе «Аркура». Такое может быть, Шарль?

— Почему же нет?

— Тогда, возможно, он сказал мне это не только потому, что хотел сделать приятное, — помолчав, задумчиво проговорила Люлю.

— А что он сказал?

— Это произошло несколько лет спустя уже в этом доме. У меня только что случился выкидыш, я пала духом, тем более что всякий раз после этого я страшно дурнела и какое-то время ни на что не была годна. Весь вечер мы провели вдвоем, вот как сейчас с вами. Такое бывало редко. И я спросила его, спросила очень серьезно: «Боб, ты уверен, что любишь меня?»

Ответ его прозвучал так непосредственно, что мне стало радостно: «Черт возьми, еще бы!» — «А за что?» — не отставала я. «Вот этого, девочка, я не знаю». — «А когда ты меня полюбил?»

Боб стоял. Он ведь никогда не мог долго усидеть на месте, словно не знал, куда девать свои длинные ноги. Уставившись в пол, он задумался.

«Хочешь знать, когда я это понял?» — «Да». — «Это было еще на улице Принца, когда ушел отец и я, возвратясь в комнату, увидел, что ты стоишь одетая, в шляпке, и держишь в руке туфли. И тут меня осенило: а я ведь мог обнаружить комнату пустой и даже не знал бы,

где тебя искать».

Я уж не стала ему напоминать, что он знал адрес своего приятеля, куда, как нетрудно догадаться, мне пришлось бы зайти за вещами.

Потом я часто думала, что он так сказал, чтобы сделать мне приятное. Но теперь, раз вы утверждаете, что такое может быть...

Люлю то ли обиделась, то ли огорчилась — я это почувствовал, — что в ту ночь в Пуатье Боб не рассказал, как прошло свидание с отцом и сестрой.

«Она красивая?» — спросила Люлю у Боба.

«Ничего». — «Высокая?» — «Почти как я». — «Сколько ей лет?» — «Девятнадцать». — «А как ее зовут?» — «Жермена. Слушай, может, поговорим о чем-нибудь другом?»

Вот и все, что ей удалось узнать, причем по виду Боба было не похоже, чтобы он поссорился с отцом. Начав раздеваться, Боб взглянул на часы.

«Четверть первого. Байоннский поезд проходит здесь в час двадцать. Мы успеем на него. Одевайся».

Ехали они третьим классом — не из экономии, а потому, что так хотелось Бобу.

Я поинтересовался:

— Вы и дальше продолжали ездить в третьем классе?

— Некоторое время — да. Потом Боб перешел на второй.

Я собрался уходить, но Люлю почти умоляюще попросила:

— Шарль, останься еще немножко. Мне так хорошо!

Тут-то я и узнал, что Аделина все разболтала, потому что Люлю, заговорщицки улыбнувшись, добавила:

— Но, может, у тебя свидание?

Я мгновенно сориентировался:

— На улице Клиньянкур?

Люлю не стала изображать удивления и только спросила:

— Она славная?

Видимо, Аделина наплела, что я влюбился и провожу у нее все ночи. Впрочем, это не имеет значения.

— Шарль, как ты думаешь, что будет со мной?

Да, на такой вопрос отвечать трудно. Я сделал вид, что задумался.

— Бывает, я чувствую себя виноватой, что еще живу. Знаешь, Шарль, почему я боюсь оставаться ночью одна? Мне все время снится один и тот же сон. В конце концов я просыпаюсь и больше не могу уснуть. Мне снится Боб, но это не он, а какой-то туманный образ. У него есть только рука, она живая и зовет меня. Мне чудится как бы жалобный стон, и я говорю себе: это он плачет, потому что я так долго тут задержалась.

— Люлю, ну будьте же благоразумной!

— Я стараюсь. Но когда я выхожу, чтобы развеяться, получается еще хуже: ведь я с ним ходила по всем этим улицам, и с каждой у меня связано какое-нибудь воспоминание. Я ведь тоже не знала Монмартра, пока не встретила с Бобом. Мы вместе постепенно открывали его.

Я дал ей выплакаться. Она плакала, опустив голову, и мне бросилось в глаза, что волосы у нее стали редеть.

— Даже наши друзья были его друзьями, только его, поэтому они больше и не приходят. Вот и старина Гайар уже целую неделю...

— Он заболел.

— Правда?

— Его пришлось срочно отвезти в больницу.

— Надо будет навестить его. Нет, правда, Шарль, я схожу. У меня часто возникает ощущение, что мое тело — и то уже не мое: оно принадлежало Бобу и теперь стало совсем ненужным. Слова, которые я говорю, — тоже его: я научилась им от него. Все, что я делаю с утра до вечера, установлено им. Понимаешь, да? Господи, ну почему он решил уйти?

— Он ничем не болел?

— Как всякому, ему случалось обращаться к врачу с гриппом там или с ангиной, а последние годы из-за болей в желудке, но нельзя сказать, что он был по-настоящему болен.

— А в последние дни он не показывался врачу?

— Мне он, во всяком случае, ничего не говорил. Вы думаете, это может быть из-за болезни?

Ответить определенно я не мог. Я ведь сам искал — ошупью, наугад. Люлю рассказала еще, как Боб, получив от машинистки перепечатанные пятьдесят страниц романа, тут же разорвал их, даже не перечитав. Потом про то, как несколько недель он участвовал в программе маленького кабаре на бульваре Клиши. Боб не пел, а всего лишь читал монолог собственного сочинения.

— В первый вечер я была в зале, в самой глубине: он сказал, что будет волноваться, если увидит меня. Я не все расслышала. Публика продолжала входить, пока он читал. Ему похлопали, но не очень. Когда я подошла к нему, он сказал: «Они не смеялись». А я — ох и дура я была! — еще удивилась: «Разве они должны были смеяться?»

Кажется, я вздремнул в кресле, но ненадолго, потому что, когда очнулся, моя сигарета еще дымилась в пепельнице. Решив, что Люлю заснула, я тихонько встал и взял со стола шляпу.

— Уже уходишь?

— Пора.

— Спасибо, что зашел. Но если это из жалости, тогда лучше не надо.

Ложиться уже не имело смысла, и я поехал через весь Париж по улицам, тишину которых уже нарушили первые автобусы. Побродил по аллеям Булонского леса, встретив несколько велосипедистов, и в конце концов на берегу Сены в Сен-Клу зашел в только что открывшееся бистро. Солнце было еще бледное и холодное. По реке медленно плыл караван барж, от них тянуло запахом креозота. Я пил кофе и думал о Бобе, о его руке, которая снится Люлю. Интересно, ей рассказали, что, когда его вытаскивали, из воды сперва показалась рука?

Вчера, когда, искупавшись, я надевал махровый халат, жена вдруг сказала:

— Самое лучшее для нее было бы снова выйти замуж.

Я не сразу понял, что речь идет о судьбе Люлю. Почему жена так беспокоится о ней? Может, почувствовала, что я думаю об этом гораздо больше, чем ей хотелось бы?

— Возможно, она и выйдет.

Надо ли понимать так, что моя жена вышла бы второй раз замуж? Эта мысль меня поразила: я-то привык считать, что она вошла в тот возраст, когда к определенным вещам нет уже прежнего интереса. Со мной — это понятно, ведь мы стареем вместе. Ну, а с другим...

Интересно! Теперь я уже был уверен, что, если я вдруг завтра умру, она попытается

снова выйти замуж. Я даже представил себе, как она это будет объяснять:

— Понимаете, только ради детей...

Боб пробормотал бы: «Умора!»

Я так не сказал. Я только с любопытством спросил:

— Почему ты так думаешь?

— Не знаю. Просто она не та женщина, которая может жить без мужчины.

— Она любила Боба.

— Знаю.

Произнесла она это каким-то странным тоном.

— Могу поклясться, что она и сейчас его любит, — добавил я.

— Вполне возможно, Шарль. Не собираюсь спорить. Это было бы бессмысленно.

Сними-ка лучше халат, он промок. На солнце твои плавки быстрее высохнут.

А я женился бы снова? Забавно было размышлять об этом, глядя, как жена вяжет и, шевеля губами, считает петли. Но с полной определенностью ответить на этот вопрос я не мог. Несомненно одно: я горевал бы. Мне не хватало бы Мадлен. Для детей пришлось бы нанять гувернантку: в пансион я их не отдал бы ни за что. Не думаю, что меня прельстила бы перспектива женитьбы на Аделине, да и вообще вряд ли у меня возникнет желание снова пойти к ней.

Подумав так, я вдруг захотел ее и стал считать дни до отъезда в Париж.

— О чем ты думаешь?

— Об одном пациенте.

Приехал я ночным поездом третьего сентября, один. Утра на побережье стали прохладней, над водой висела золотистая дымка, и солнце не скоро разгоняло ее.

Я снова вернулся к своим пациентам, к привычной жизни. Теперь мне не хотелось на улицу Клиньянкур, хоть я и мог туда пойти; повидаться с Люлю тоже не было настроения.

Я ограничился тем, что как-то утром, умывшись и позавтракав, позвонил ей — перед самым приемом.

— Хорошо отдохнули на море? — поинтересовалась она.

— Как обычно.

— Как чувствуют себя жена и дети?

— Великолепно. А вы?

— Ничего.

— Как настроение?

— Не знаю. Мне как-то все безразлично.

Ответ мне не понравился.

— Вонючка все еще при вас?

— Кто?

— Мадемуазель Берта.

— Да, она здесь.

— Все такая же?

У меня появилось ощущение, что внезапно мы стали далеки друг от друга. Дошло уже до того, что мы не знаем, о чем говорить, ищем слова. Видимо, Люлю не одна. Впрочем, она никогда не бывает одна. Присутствующие слышат разговор. Может, этим и объясняется холодность ее тона?

— Начали возвращаться мои клиентки, и мы уже шьем зимние шляпки.



— На днях загляну к вам.

— Мне будет очень приятно.

— До свиданья, Люлю.

— До свиданья, Шарль.

Может быть, она раскаивается, что так была безудержно откровенна со мной при последней встрече? Но ведь она не сказала ничего такого, о чем могла бы сожалеть. А может, просто опять подпала под влияние мадемуазель Берты?

Я позвонил в больницу, чтобы узнать, как Гайар, ожидая услышать, что он умер. Нет, три дня назад он возвратился к себе в мастерскую на вершине Монмартрского холма и снова начал ежедневные обходы быстро. Видимо, он опять стал каждый день заходить в ателье на улице Ламарка, сидел там, пил белое вино и произносил перед мастерицами речи, которые были им непонятны и вызывали только смех.

И опять я подумал о... Нет! Не хочу идти к ней! Мне вдруг вспомнился афоризм, который я вычитал, еще когда учился, кажется, у Стендаля и переписал в записную книжку, потому что мне он показался чрезвычайно глубоким: «Человек привыкает ко всему, кроме счастья и покоя».

В общем-то, это эквивалент шутки студентов-медиков: «Здоровый человек — это больной, который не знает о том, что он болен».

Не имеет значения, почему это пришло мне в голову. Всю неделю, оставшуюся до возвращения семьи, я скучал по жене и детям, особенно по детям. Встретился со своим коллегой Мартеном Сосье, тем, что заведует отделением в больнице Кошена и знаком с сестрой и зятем Боба.

Я намеренно не напоминал ему о Петреях. Смешно. Сейчас у меня появилось ощущение, что я злюсь на Дандюрана и виню его в том, что мне пришлось взглянуть в лицо неприятным истинам. Чего стоит хотя бы возможное вдовство моей жены и ее второй брак! Однажды ночью мне это снилось в течение получаса, даже пришлось подняться и принять таблетку фенобарбитала.

Если вполне здоровый человек, почитающий себя нормальным и разумным, прошедший почти всю жизнь, так сказать, в изучении себе подобных, доходит до того, что начинает верить в такие нелепые фантазии, чего можно требовать от той же Люлю, переживающей подлинную трагедию?

— Кстати, я тут получил весточку от Петрелей, — сообщил Сосье, который никогда ничего не забывает. — Их дочь выиграла какое-то первенство по плаванию. Они возвращаются в субботу, и мы с женой решили пригласить их на будущей неделе к нам. Твоя жена уже вернется?

— Да. Тоже в субботу.

— Среда тебя устраивает?

— Знаешь, мне бы не хотелось, чтобы ты считал себя обязанным...

— Да нет же! Нет! Жена приготовит рыбу по-провансальски. Эта очаровательные люди, и уверен, с ними тебе будет интересно.

Теперь, когда я уже по уши увяз в этой истории, отказываться было просто нельзя. Итак, в среду я увижу сестру Боба, ее мужа и сына, который как две капли воды похож на дядю.

В субботу днем мне предстоял всего один визит, а на вокзал Монпарнас мне надо было приехать только в половине седьмого.

Всю неделю я убеждал себя:

— Надо воспользоваться тем, что я покамест один, и навестить Люлю; когда приедет жена, часто ходить к ней не удастся.

Я направился на улицу Ламарка, дошел до площади Константен-Пекёр и закончил свой путь перед сомнительными мебелирашками на улице Клиньянкур.

Подруга, сидевшая в комнате, взглянула на меня с улыбкой, которую, видимо, она считает лукавой, поднялась и заявила:

— Я вас покидаю.

На что Аделина самым естественным тоном заметила:

— Тебя никто не гонит...

У Сосье огромная квартира, окна которой выходят в Люксембургский сад. И сам Сосье, и его жена — убежденные, можно даже сказать непреклонные, левобережники. Она и родилась здесь, метрах в ста от дома, где они сейчас живут; ее отец был знаменитый врач, Сосье у него учился. Один их сын в армии в Северной Африке, другой, старший — он уже женат и совсем недавно у него родился ребенок — принят младшим интерном в больницу Кошена, а дочка — она самая младшая — еще целый год пробудет на лечении в санатории в Швейцарии.

Мы с женой приехали первыми. Жена сразу же отправилась за Шарлоттой Сосье на кухню, где та самолично готовила что-то вкусное: в этом доме любят попотчевать и, приглашая гостей, спрашивают, как они относятся к рыбе по-провансальски, петуху в вине, куропатке с капустой, овощам по-лотарингски. А Сосье торжественно спускается в подвал выбрать вина, которые потом ставит подогреть или охладить.

— Как дела? Сигару?

— Перед обедом не стоит.

— Портвейн?

— Подождем, когда...

Я хотел сказать, подождем, когда придут остальные, но тут мы услышали шум лифта, остановившегося на этаже. Петрели пришли с сыном, дочери не было; я не слышал, чем они объяснили ее отсутствие. Г-жа Сосье и моя жена вышли из кухни. Мы все стояли у дверей в гостиную, и Шарлотта представила нас друг другу.

Мне показалось, что молодой человек, пожимая мне руку, впился в меня глазами, словно искал в памяти, где он мог меня видеть, а чуть позже я заметил, как он шепотом сказал что-то матери.

Сосье предложил портвейн. Петрель подошел ко мне и для начала разговора спросил:

— Вы на чем специализируетесь?

— Общая терапия в самом полном смысле слова.

— Это, должно быть, трудно, но увлекательно.

Улыбнувшись, я ответил:

— Как посмотреть.

Он оказался ничуть не напыщенным, как я подумал, наблюдая за ним на похоронах. Разумеется, у него была внешность и манеры адвоката, причем адвоката из XVII округа <sup>[5]</sup>, но ограниченным он мне не показался — напротив, его взгляды по некоторым вопросам, в частности на воспитание детей, о чем говорилось за ужином, были вполне современными.

Перед тем как мы сели за стол, разговор был довольно беспорядочный, и я его не запомнил. Комнаты в квартире Сосье большие, с высокими потолками, с окнами до пола; мебель массивная, дорогая, но несколько мрачноватая, а в столовой надо всем доминирует портрет Сосье в полный рост, висящий как раз напротив места хозяина дома. Я как-то пошутил на этот счет. Сосье ответил — и я верю, так оно и было, — что заказал этот портрет, чтобы помочь нуждающемуся художнику, который с тех пор стал своим человеком в доме; кстати, он сам и выбрал место для полотна.

Несколько раз я почувствовал, что Жермена Петрель рассматривает меня. Ее сын принимал участие в общей беседе — без чрезмерной застенчивости, но и без развязности.

Возможно, я не прав, но мне кажется, адресовался он преимущественно ко мне. Тон у него был самый почтительный.

— Прошу прощения, что позволяю себе...

Общение с молодыми людьми его возраста, которые являются детьми моих знакомых, всегда оказывает на меня несколько странное действие. Мои сыновья еще малы: у нас с женой, к нашему горю, шесть лет не было детей. Потом родилось двое с интервалом чуть больше года, так что их иногда принимают за близнецов.

Кофе мы перешли пить в небольшую уютную гостиную; мужчины стояли, и Сосье, в этом я убежден, постарался устроить так, чтобы я оказался рядом с Жерменой Петрель. Это оказалось не так-то просто из-за моей жены, затеявшей с г-жой Петрель долгий разговор, конца которому не предвиделось. Поймав взгляд мужа, Шарлотта под каким-то предлогом увела мою жену в соседнюю комнату.

Г-жа Петрель сама обратилась ко мне.

— Вы ведь были другом Робера, не так ли? — непринужденно спросила она.

— Вам Сосье сказал?

— Да, он нас предупредил, когда приглашал на сегодняшний вечер. А кроме того, вас узнал Жан Поль.

— Я так и подумал.

— Он был настолько нескромен, что тут же шепнул мне об этом.

У нее был теплый приятный голос, черное платье выгодно оттеняло ее красивые плечи.

— Вы были в Тийи, когда это случилось?

— Нет. Так вышло, что в тот день меня не было в «Приятном воскресенье».

— Полагаю, никаких сомнений нет?

— Что он покончил с собой? На мой взгляд, нет. Должен сказать, что многих из тех, кто там был, я опросил.

— Вы любили Робера?

— Очень.

Я держал рюмку ликера и не знал, куда ее деть. Г-жа Петрель взяла ее у меня из рук и поставила на круглый одноногий столик.

— И хорошо его знали?

— Такого, каким он был последние тринадцать-четырнадцать лет, — хорошо.

— Я тоже его любила, — проникновенно произнесла она. — Он был мой единственный брат. Маленькой, я не допускала мысли, что с ним кто-то может сравниться.

— Когда он уехал из Пуатье, вам было четырнадцать. Вы ведь младше его на пять лет?

Она улыбнулась.

— Вы хорошо осведомлены, но не совсем точны. Мне было шестнадцать, когда Робер уехал в Париж: первые два курса он учился на юридическом факультете в Пуатье.

— Робера смущало, что он учится в университете, где деканом его отец?

— Да, именно по этой причине он решил продолжить образование в Париже, и папа согласился с ним.

— Они ладили между собой?

Г-жа Петрель на миг задумалась, выбирая слова.

— Они питали друг к другу величайшее уважение.

— Но взгляды у них были разные?

— Это неизбежно между людьми двух поколений. Но дело не только в этом.

Г-же Петрель не приходилось импровизировать. Было заметно, что она много думала об этом, и подозреваю, что, предупрежденная Сосье о моем желании поговорить о Бобе, подготовила кое-какие ответы, но не для того, чтобы блеснуть или создать у меня выгодное представление о своей семье, а чтобы установить истину. Она заботилась о точности выражений, задумывалась, прежде чем произнести фразу, иногда возвращалась назад, чтобы прояснить подробности или добавить какую-нибудь деталь.

— Папа был человек ясного, точного ума...

Да, именно такая репутация была у него, и дочь подтвердила ее.

— Робер же, напротив, мыслил как-то очень непросто. Понимаете, что я хочу сказать? Мамы я не помню: она умерла, когда брату было восемь, а мне три. Кажется, Робер был похож на нее; во всяком случае, я неоднократно слышала это от тети Огюстины, которая нас вырастила.

— Это сестра вашего отца?

— Да. Она старая дева.

— Она была такая же рационалистка, как он?

— Она и сейчас еще жива, живет в Пуатье на улице Кармелитов, занимает второй этаж дома, принадлежащего нашей семье. Стала совсем уже старенькая; смерть папы, который провел последние годы с нею, была для нее страшным ударом, она так и не оправилась. Можете составить представление об ее характере по такой вот детали. Знаете, что она читает вот уже полтора года — с тех пор, как оказалась прикованной к креслу? Полное собрание сочинений Вольтера в старинном издании, почти в каждом томе которого сохранились пометки на полях, сделанные папой.

Многие считают ее холодной. Я запомнила одно из ее излюбленных выражений, которое часто слышала в детстве: «Главное — быть справедливым».

Заметив, что г-жа Петрель сделала знак, я обернулся и увидел Жан Поля, стоящего поодаль.

— Жан Поль, можешь присоединиться к нам. Мы с доктором Куэндро беседуем о твоём дяде.

Мне она сообщила:

— Мой сын очень любил дядю. Видел он его не чаще одного-двух раз в год, но стоило Роберу появиться у нас на бульваре Перейр, их было не разлить водой.

Я опасался, что при молодом человеке она не рискнет касаться кое-каких тем, но что было делать.

— Ни за что не догадаетесь, о чем мечтал брат, когда ему было семнадцать лет. Служить мехаристом<sup>[6]</sup> в Сахаре. В комнате у него висела большая карта Северной Африки, фотография отца Фуко<sup>[7]</sup>, которую он не знаю где раздобыл, и распятие из черного дерева.

— Ваш отец был против?

— Нет. Сразу видно, что вы не знали папу. У него была сложившаяся система взглядов. Он считал их верными и настойчиво высказывал, порой даже в резкой форме, за что его некоторые упрекали. Но чужие взгляды он уважал так же, как свои. Не думаю, чтобы папа когда-нибудь пытался повлиять на Робера. Он просто наблюдал за ним — сперва с беспокойством, потом с огорчением.

— Это он настоял, чтобы ваш брат поступил на юридический?

— Нет, что вы. Робер сам решил. Я знаю это, потому что, хоть я и была маленькой девочкой, он обыкновенно был откровенен со мною, а верней, рассказывал мне обо всем, но

так, словно говорил сам с собой. «Я никогда не стану, — заявил он, — ни отцом Фуко, ни хорошим священником, ни хорошим офицером. Дело в том, что у меня нет веры».

Я смотрел на Жан Поля, пытаюсь представить Боба в этом возрасте. Из любопытства я спросил:

— А вы какую карьеру выбрали?

— Флот! — мгновенно ответил он с таким воодушевлением, что я не сдержал улыбки. — Через две недели я поступаю в Военно-морское училище.

— Понимаете, — пояснила г-жа Петрель, — мы с мужем не пытались воздействовать на него, хотя у нас нет второго сына, чтобы передать ему адвокатскую контору, и когда муж отойдет от дел, она попадет в чужие руки.

Я был очарован, покорен г-жой Петрель. В ней было нечто патрицианское, что меня восхищало, но в то же время вызывало во мне, сыне булочника, сопротивление.

Дом Дандюранов на улице Кармелитов, вероятно, был похож на квартиру, где мы сидели, только, как мне думается, там было куда тише и торжественней. Профессору, несомненно, была свойственна та же непринужденность, что и его дочери, — непринужденность, происходящая от абсолютной уверенности в себе, но ничуть не от высокомерия.

— Я понимаю, почему он хотел поступить в мехаристы, — произнес Жан Поль. — На мой взгляд, он не прав в другом: надо было добиваться своего, если ему действительно хотелось.

Г-жа Петрель повернулась ко мне.

— Мой сын гораздо практичнее своего дяди и, мне кажется, куда эгоистичнее.

— Эгоизм — жизненная необходимость, мамочка. Без эгоизма...

Она улыбнулась.

— Согласимся, что у дяди не было ни твоего характера, ни твоей последовательности. Но, сдав экзамен на бакалавра, он пошел на юридический факультет.

— Чтобы доставить удовольствие дедушке! — бросил Жан Поль.

— Возможно. А возможно, чтобы избежать конфликта. Он вообще не любил ссор, но больше всего боялся причинить огорчение. Как-то, когда он еще был в университете, я удивилась, почему он никогда не приглашает к нам своих товарищей, и он смущенно ответил: «Понимаешь, большинство из них небогаты. Если я приведу их к нам, я буду выглядеть, как...»

Не помню, какое сравнение он употребил. Именно в университете он осознал существование социального неравенства и долго не мог избавиться от чувства вины; его коробило всякий раз, когда тетушка высказывала что-нибудь такое, от чего несло буржуазной спесью. С нею в спор он не вступал, но я всегда замечала, как он бледнел и ел уже без всякой охоты.

Один из его друзей был поэтом, а сейчас он главный редактор левой газеты и вроде бы депутат парламента. Но это можно уточнить у мужа. Не знаю, может быть, уже тогда этот человек придерживался тех же взглядов и оказал влияние на Робера.

Во всяком случае, переехать из Пуатье в Париж для брата было огромным облегчением.

Жан Поль бросил:

— Я его понимаю.

— Почему?

— Быть сыном важной птицы — небольшое удовольствие. Уверен, что многие студенты

избегали его.

Г-жа Петрель, не выразив неодобрения, продолжала:

— Когда Робер в первый раз приехал на каникулы, я уже была барышней, и он разговаривал со мной гораздо свободнее.

— Рассказывал о своих похождениях?

— До этого не доходило. Он был не такой, как ты. Да и женщины его не слишком интересовали — я это заметила по его отношению к моим подругам.

— Девушки из хороших семей в нашем возрасте не очень-то котируются.

Отношения между матерью и сыном были достаточно свободными, и, надо думать, иной раз они толковали весьма откровенно. Несмотря на разность характеров и темпераментов, между ними существовала очень тонкая, я бы даже сказал чувственная, общность. Еще на похоронах я был поражен той заботой, которой окружил Жан Поль свою мать. Да и сейчас было видно, как они любят друг друга.

— И что же он тебе рассказывал?

— Что попробовал жить так, как его приятели, которым, чтобы учиться, приходится работать.

— Ты никогда мне об этом не говорила. И что же, он пошел билетером в кино?

— Нет. Думаю, что это ему показалось слишком легким. Когда-то он хотел служить в армии в пустыне, а тут решил пойти чернорабочим на Ситроен. Работали там в три смены. Его приняли в ночную. Для этого оказалось достаточно отстоять перед воротами в очереди с арабами, поляками, с людьми из самых мрачных углов Парижа и со всех концов света.

— И сколько он там выдержал?

— Три недели.

— По мне, много.

— По мне, тоже. Я была восхищена. И тут же стала издеваться: он вздумал сделать татуировку на левой руке. Счастье, что он сходил всего на один сеанс! Ему успели нарисовать только контур штурвала и инициалы.

— В английском военном флоте, — сообщил Жан Поль, — у всех офицеров татуировка.

— Тут есть разница.

— А зачем это было ему?

На вопрос Жан Поля ответил я, взглядом попросив позволения у его матери:

— Чтобы не отличаться от своих товарищей, быть, как они.

Жан Поль задумался.

— Кажется, я его понимаю.

Он действительно понимал Боба, потому что добавил:

— Думаю, в армии он предпочел бы быть рядовым, а не офицером.

Нас прервали. Дамы сидели в одном углу, мужчины стояли в другом.

— У меня тоже есть несколько вопросов к вам, — уже поднимаясь, сказала Жермена Петрель.

Моя жена снова завела с ней разговор, а Петрель, словно это было подстроено заранее, взялся за меня.

— Вы говорили о Робере?

Причин скрывать это у меня не было.

— Любопытный был человек, чрезвычайно привлекательный, и мой сын прямо-таки обожал его.

Подошел Сосье, наполнил нам рюмки, а Жан Поль то ли из скромности, то ли потому, что не чувствовал себя еще вполне взрослым, остался с дамами.

— Если бы спросили мое мнение о нем, я бы сказал, что он был поэтической натурой. Уверен, что в свое время он писал стихи.

— А вы нет? — удивился Сосье.

— Насколько помнится, нет.

Говорил Петрель нарочито отчетливо, словно истолковывал в гражданском суде статью закона.

— Я не поручусь, что решение пойти во флот Жан Поль принял не без некоторого влияния Робера. Но, с другой стороны, не могу упрекнуть его в том, что он был хоть сколько-нибудь некорректен. Виделись мы с ним хорошо если два раза в год. Он, должно быть, чувствовал себя паршивой овцой в семействе и заранее предупреждал сестру по телефону о визите, словно не желал конфузить нас, если в доме соберется общество.

Фразы его мне казались чудовищно длинными, и я с трудом следил за ними, настолько мне они были неинтересны. Сосье, который, главным образом благодаря жене, находился в смысле социального положения примерно на полпути между мной и Петрелем, примирительно произнес:

— Короче, он был богема. По-моему, это просто спасение, что в нашу эпоху безжалостного утилитаризма остались еще такие люди, хотя бы для того, чтобы создать иллюзию легкости жизни и подчас позабавить серьезных особ. Англичане, величайшие в мире консерваторы, к своим чудакам и оригиналам относятся с той же покровительственной любовью, что к памятникам старины, и в Гайд-парке никто не подумает потешаться над каким-нибудь одержимым, одетым, как огородное пугало, который, стоя на ящичке из-под мыла, проповедует только что придуманную им новую религию.

— Интересная точка зрения. Вполне возможно, что мой шурин имел намерение потешать других.

— Я не утверждаю, что...

Но Петрель с полной серьезностью принялся развивать эту тему, и я опять начал следить за разговором.

— Да! Да! В том, что вы только что сказали, есть нечто очень тревожное. Я неоднократно пытался поговорить с ним как мужчина с мужчиной, но он всякий раз увиливал или отделивался шутками. Надо полагать, он относился ко мне без особой любви. Очевидно, я ему казался напыщенным холодным законником. Тем не менее он нередко пытался, как тут выразился Сосье, позабавить меня. И это позиция.

Любопытно было видеть, насколько он загипнотизирован этой мыслью.

— Когда-то у меня был приятель, который тоже почитал своим долгом потешать других. Но поскольку ему было известно, что остроумие к нему приходит только после одного-двух стаканчиков, то прежде чем идти туда, куда был приглашен, он обязательно заглядывал в кафе или бар, причем точно знал дозу спиртного, которая ему необходима.

— И что же с ним случилось? — полюбопытствовал я.

— Умер от туберкулеза. Его жене пришлось пойти работать продавщицей в универмаг. И у меня такое впечатление, что Робер тоже не отличался крепким здоровьем. Не правда ли, с очень высокими людьми это частенько случается?

Я забеспокоился: мне показалось, будто жена говорит о Люлю, а я не очень представлял, что она может наплести.



— В конечном счете, он сам выбрал такую жизнь, и она его устраивала. Однажды моя жена спросила, счастлив ли он, и он ответил, что не поменял бы свою жизнь ни на какую другую.

На похоронах я не очень рассмотрел его жену, поскольку не поехал на кладбище: в тот день я должен был быть к двенадцати во Дворце правосудия. Робер не считал необходимым познакомить нас. Хотя после того, как они вступили в брак, у нас не было никаких оснований не встречаться.

Думаю, что он ее любил. Во всяком случае, считал себя ответственным за нее.

— Что вы хотите этим сказать? — поинтересовался я, раздраженный его менторским тоном.

— Я всего-навсего пересказываю его слова. Сам я не присутствовал при том, как он произнес фразу, которую я собираюсь вам процитировать, но жена передала мне ее. Это было перед Новым годом. Робер всегда приходил повидаться с сестрой накануне ее дня рождения и приносил небольшой подарок, какой-нибудь грошовый пустячок, который тем не менее доставлял Жермене радость. Иногда они говорили о жизни на улице Кармелитов. Полагаю, что в тот день они вспоминали, как Робер, когда он так внезапно бросил учебу, приехал перед новогодними праздниками повидаться с отцом.

Жермена спросила его: «Не сожалеешь?»

После секундного раздумья он ответил что-то вроде: «Во всяком случае, одной женщине я дал и до сих пор даю счастье». Потом усмехнулся, как обычно, когда подтрунивал над собой, и добавил: «В конце концов, если бы каждый принес счастье хоть одному человеку, весь мир состоял бы из счастливых людей».

Я предпочел бы, чтобы эти слова были повторены теплым голосом Жермены Петрель, а не ее супругом, но даже в его передаче они тронули меня.

У меня впервые появилось ощущение, что я хоть отчасти начал понимать Боба Дандюрана, и первым следствием этого был порыв нежности к Люлю. Мне стало досадно на себя за то, что я так давно не заходил к ней и неверно расценил наш последний разговор по телефону.

Слова Боба поразили и Сосье. Он негромко произнес:

— Вот и я так же поступаю по отношению к детям. По крайней мере стараюсь...

Я бросил через гостиную взгляд на жену и подумал, а старался ли по-настоящему я...

— Не присоединиться ли нам к дамам? Похоже, у них интересная беседа.

Когда я подошел, жена говорила:

— ...Понимаете, что я хочу сказать? Он вел себя с ней, как истый джентльмен. Как только женился, стал считать своим долгом, насколько я его понимаю...

Я перебил ее, обратившись к Жермене:

— Возвращаясь с кладбища, вам удалось поговорить с Люлю?

— Мы возвращались порознь. Ей с подругой пришлось остаться в Тиэ. Мне она показалась довольно-таки необщительной, но, может быть, это от смущения.

Моя жена открыла рот, но я опять помешал ей высказаться.

— Ее преследует мысль, что она виновата в его смерти. Робер был для нее всем, более того: она им жила. Вряд ли она даже помнит свою жизнь до встречи с ним. К ней он относился, я бы сказал, как к ребенку. Она научилась у него всему, что знает. Переняла его манеры. Он был в каждом ее слове, в каждой мысли. И вдруг — его нет, и она остается без опоры.

Жена все-таки вмешалась:

— Счастье еще, что у нее есть мадемуазель Берта!

Я готов был залепить ей пощечину. Она почувствовала это по моему взгляду и побледнела. Поджала губы, как всегда, когда понимает, что сделала не то, но не желает признать.

— У нее нет ничего, кроме памяти о Бобе, — возразил я. — Кстати, Бобом назвала его она, и в течение двадцати трех лет все его так и звали.

— Он рассказывал нам, — вставила Жермена Петрель. — Интересно, что когда мне было лет пять-шесть, я как-то вечером за столом назвала его Бобом — так звали брата одной моей подружки. Папа нахмурился. «Робер!» — поправил он. «А почему не Боб? Так красивее». — «Для ребенка, может быть. Но когда он станет известным адвокатом, судьей или профессором, это будет звучать смешно».

И он рассказал нам об одной из своих тетушек; я ее не знала, потому что она умерла в Индокитае. Когда она была грудной, кормилица звала ее Птичкой, и прозвище пристало. Папа утверждал, что в восемьдесят лет тетку все еще называли Птичкой.

Жан Поль заметил:

— А «Боб» ему подходило.

Моя жена все-таки вмешалась:

— Я полностью на стороне вашего отца. Я тоже никогда не позволяла звать своих детей уменьшительными именами.

— А не пора ли нам закрыть заседание? — предложил я.

Жермена Петрель улыбнулась, поняв, что у нас с женой не всегда совпадают мнения, в частности в том, что касается Боба и Люлю. Я был признателен ей за то, как она рассказывала о своем брате, и понял, что он любил время от времени навещать ее. У меня оставался еще один вопрос к ней, и, пользуясь тем, что все направились в прихожую, я задал его:

— Ваш отец очень на него рассердился?

— Ну, он не проклял его, как в бульварных романах, и отнюдь не захлопнул перед ним двери дома. Папа уважал чужие взгляды, я уже вам говорила. Но убеждена, что для него это было чудовищным разочарованием. Папа только сказал: «Ты идешь своим путем, я своим. Каждый сам выбирает дорогу».

— Боб больше не приезжал повидаться с ним?

— Нет. Он несколько раз писал. Папа не отвечал, и брат сделал вывод, что отец решил порвать с ним всякие отношения. Вообще позиция и того, и другого остается для меня тайной: ни папа, ни брат никогда не заводили со мной разговора на эту тему. Думаю, папа был слишком горд и слишком целен, чтобы примириться с произошедшим или сделать вид, что примирился. Что же до Робера, мне кажется, его сдерживала своего рода стыдливость. Он не хотел навязываться, как не хотел навязывать нам свою жену.

— Он не приехал даже попрощаться с умирающим отцом?

— Папа скончался скоропостижно от эмболии, когда сидел вместе с тетей в библиотеке.

— Боб был на похоронах?

— Да. Только без жены. Он взял ее с собой в Пуатье, но оставил в отеле.

Люлю умолчала об этой поездке. Я пребывал в уверенности, что она всего раз ездила в Пуатье.

— Если вы вдруг окажетесь в нашем квартале и у вас будет свободная минутка, заходите без всяких церемоний поболтать — вы мне доставите огромное удовольствие. Во второй половине дня я очень редко выхожу из дому.

Жан Поль слышал приглашение и, похоже, отнесся одобрительно.

— Меня, к сожалению, не будет. Я уже буду в Военно-морском училище.

На прощанье он крепко пожал мне руку, как бы благодаря за преданность его дяде.

— Он был замечательный человек! — шепнул Жан Поль. — Только не надо слишком часто напоминать об этом папе.

Его мать попросилась сдержанней, но тоже чрезвычайно сердечно.

— Не забывайте о моем приглашении! — бросила она, садясь в машину.

— О каком приглашении? — удивилась жена.

— Зайти к ней.

— На обед?

Я позволил себе маленькую месть.

— Нет. Она попросила меня, если я окажусь поблизости от них, заглянуть на минутку поболтать.

— Без меня?

— Я так понял.

— А тебе не кажется, что для меня это оскорбительно?

— Не кажется.

— До сегодняшнего вечера мы ее не знали. Ей представили нас обоих. А приглашает она тебя одного!

Я был удовлетворен. Часы показывали половину двенадцатого. Стояла теплынь. Машина почти бесшумно катилась по улице.

У меня хватило жестокости предложить:

— Может, заедем к Люлю?

— Так поздно?

— Пожалуй, ты права. Хотя она редко ложится рано.

Уверен, что жена подумала, не в такую ли пору приходил я на улицу Ламарка, когда она была в Фурра. Что бы она сказала, поведай я ей о моих визитах на улицу Клиньянкур?

Меня так и подмывало швырнуть ей в лицо правду: пусть узнает, как жестока реальность, каков истинный наш облик — и ее, и мой. Может быть, напрасно мы все скрываем. Но, по справедливости, тогда надо было бы с самого начала не оставлять нашим женам никаких иллюзий.

Сойдясь с Люлю, Боб принял на себя ответственность за нее. Он никогда не говорил ей высоких слов. Даже о любви не говорил. Просто взял за руку, словно ребенка, словно девочку, какой она, в сущности, и была, и Люлю, сперва удивившись, что он, такой взрослый и умный, снизошел до нее, доверилась ему и поверила в жизнь.

Сейчас я завидовал им обоим. Я начал понимать ту атмосферу легкости, которая царила у них в доме. Они не придавали значения тому, что несущественно; вот почему люди вроде меня приходили в ателье на улицу Ламарка набираться жизненных сил.

И нет ничего странного в непрямом пути от мечты о мехаристе через заводы Ситроена к монмартрским бистро. Это все равно, как если бы Боб сперва метил слишком высоко, потом слишком низко, чтобы наконец остановиться на золотой середине.

Неудачник — сколько раз я это слышал после его смерти! Да, неудачник, но неудачник

трезвый, сознательный, сам выбравший свой путь. Он внезапно обрел в моих глазах некое величие.

Сперва он хотел стать святым в пустыне, потом обездоленным среди обездоленных, остановился же на том, что просто старался — он сам так сказал сестре — сделать счастливым одного-единственного человека.

«Если бы каждый...»

Он стыдился своего происхождения, культуры, они мешали ему точно так же, как унаследованные от матери деньги, от которых он поспешил избавиться, а еще раньше ему мешало, что отец у него — важная персона.

«Умора!» — бросал он с неизменной не старящейся улыбкой, и не было в ней ни язвительности, ни горечи.

И все-таки разве я не подмечал в ней тени тоски?

— Куда это ты? — спросила жена.

Я проехал мимо дома и направлялся в сторону Монмартра.

— Уж не собираешься ли ты и вправду нагреть к...?

— Нет. Хочу выпить пива.

Кружку пива на Монмартре, на террасе кафе «Сирано», находящегося на углу улицы Лепик, которую Боб когда-то определил как самую человечную в мире; отсюда видна маленькая гостиница, где они жили с Люлю.

— Официант, две кружки пива!

— Я не хочу пива.

— А что будешь?

— Ничего. Сегодня вечером мы достаточно выпили.

— Тогда одну кружку.

Мы сидели молча, наблюдая за толпой, текущей по тротуару, ныряющей то из темноты в свет, то из света в темноту.

В конце концов, чувствуя угрызения совести, я неуверенно проговорил:

— Послушай, ну почему ты так сурово судишь всех, кто не похож на тебя?

— Ты имеешь в виду Люлю?

— И ее, и Боба.

— Я ни разу не сказала ничего худого ни о нем, ни о ней. Приведи мне хотя бы одну фразу, которая...

— Да стоит ли?

— Вот видишь! Ты не сможешь повторить ни одного моего недоброго слова о них! Боб был очаровательный человек, и я с удовольствием время от времени виделась с ним. Люлю я страшно сочувствую. Что же до твоих стараний представить их как некий образец...

Бесполезно было пытаться заставить ее понять то, что она не сумела понять за всю жизнь. Бесполезно и жестоко. Чего ради смущать ее покой? Она и без того пыталась убедить себя, что во всем права, — в глубине души ей было не по себе.

Я накрыл ее руку своей.

— Ты славная женщина, ну и полно.

— Жаль, конечно, что я не стою Люлю.

— Опять?

— Но ведь ты так думаешь! Почему ты не осмеливаешься сказать это вслух?

Действительно, почему? Моя рука еще с секунду лежала на ее руке, потом я взял кружку

и стал допивать пиво. Около нас остановилась цветочница, и я купил букетик фиалок: босоногая девочка так серьезно смотрела на меня своими огромными глазами!

— Это мне? — удивилась жена.

— Тебе.

— А-а... — И после мгновенной паузы поблагодарила: — Спасибо.

Мы вышли из машины, я, как всегда, оставил ее на улице: здешние полицейские ее знают. Вошел на цыпочках в детскую поцеловать детей; они даже не проснулись, лишь младший провел рукой по лбу, словно отгоняя муху, и почмокал во сне губами.

Мы с женой спим в одной постели, как Боб и Люлю. Жена раздевается при мне. Она носит эластичный пояс для чулок, оставляющий следы на коже. Будильник всегда завожу я, но ставлю с ее стороны, потому что жена встает первая: почему-то она не хочет, чтобы ее будила служанка.

— Спокойной ночи, Мадлен, — сказал я, целуя ее.

— Спокойной ночи, Шарль.

Будильник завожу я, зато она протягивает руку и гасит свет. Мелкие привычки, незаметно с ними сживаешься, они постепенно превращаются в ритуал, и ты машинально выполняешь его.

Я подумал: а как желали друг другу спокойной ночи Боб и Люлю?

И еще: как он произнес «спокойной ночи» тогда в Тийи, уже тщательно подготовив то, что произошло на следующее утро у водослива Родникового шлюза?

Из-за этих мыслей я как-то по-дурацки, неловко положил, как в «Сирано», руку на руку жены и в темноте, наугад поцеловал ее второй раз.

Она не сразу отозвалась. Помедлила, потом спросила шепотом:

— Ты ненавидишь меня?

— Нет.

— Еще сердишься?

Господи, ну почему я такой идиот и какого черта мне так захотелось плакать?

В Париж пришел какой-то новый, тяжелый грипп; мы безуспешно боролись с ним, и у меня не оставалось ни минуты свободной. Старший сынишка заболел, температура у него была под сорок.

Чуть ли не каждый вечер я говорил себе:

— Завтра надо будет выкроить время и забежать к Люлю.

Но на следующий день едва успевал обойти всех больных.

Кончилось тем, что она сама позвонила; мы только сели ужинать, и мне пришлось поставить телефон на буфет.

— Шарль?

Не знаю, каким образом жена догадалась, что это Люлю; возможно, по выражению моего лица. Говорила Люлю как-то неуверенно, с запинками.

— Я вам не помешала?

— Что вы! Как вы себя чувствуете? Надеюсь, у вас хотя бы нет гриппа?

— А вы болеете?

— Я нет, но очень многие мои пациенты и старший сын больны.

— Мне кажется, я не заразилась, — пробормотала Люлю.

Голос у нее был колеблющийся, нерешительный. Я уловил в нем какую-то нищенскую, приниженную покорность.

— Вы, наверно, едите?

Я солгал:

— Как раз кончили.

Жена скорчила недовольную гримасу.

— Вы, видимо, страшно заняты?

— Две последних недели передохнуть было некогда, но сейчас становится легче: выздоравливающих уже больше, чем новых случаев заболевания.

— Шарль, у меня к вам просьба.

Судя по тону, я решил было, что дело идет о деньгах.

— Вы же знаете, что всегда можете рассчитывать на меня. — Я вынул из кармана часы. — Не поздно будет приехать к вам в половине девятого?

— Благодарю, Шарль, я ведь всегда дома. Но только не думайте, что вы обязаны...

Озабоченный, я вернулся к столу, размышляя вслух:

— То ли она больна, то ли с ней что-то случилось...

— Плакала?

— Нет, но голос у нее какой-то не такой. Слово она милостыню просит.

— Поедешь к половине девятого?

— Да. Заодно зайду к двум больным.

— Я думала, на сегодня ты закончил.

— Пойдет в счет завтрашнего.

Этим я подстраховался: жена уже не предложит поехать вместе со мной. Я зашел пожелать спокойной ночи старшему сыну: он почти выздоровел и, обложившись иллюстрированными журналами, целыми днями читал в кровати.

— Поздно вернешься?

— Не думаю.

Взяв машину, я поехал на улицу Ламарка. Я поразился, обнаружив, что двери на замке, мало того — закрыты ставни и заперта наружная дверь, так что пришлось стучать. Послышались приближающиеся шаги. Голос Люлю спросил:

— Шарль, это вы?

— Да.

Люлю отодвинула засов, открыла замок. Она была не причесана, в красном халатике, в войлочных шлепанцах на босу ногу.

— Очень мило, что вы пришли.

Следом за ней я прошел через неосвещенную лавку, вошел в ателье; дверь в спальню оказалась открытой, и я бросил туда взгляд: на нерасстеленной кровати виднелась вмятина — Люлю, видимо, лежала. Я машинально оглянулся и, кажется, даже принюхался.

Люлю взглянула на меня и, усаживаясь, сообщила:

— Она ушла.

— Вы поссорились?

— Даже нет. Я ведь не потому попросила вас прийти. Я ей просто предложила убраться.

— А я полагал, что вы боитесь оставаться одна.

— Еще немножко боюсь. Видите, закрыла двери и окна. Смешно, я понимаю. Бывает, меня охватывает такой страх, что зуб на зуб не попадает, но лучше это, чем то, что было.

Я старался не смотреть на нее, боясь, что она прочтет в моих глазах изумление и жалость. Меня ужаснуло, как она похудела за эти несколько недель. Очень мне не понравились также глубокие круги под глазами и какой-то застывший взгляд.

— Вы не больны?

— Нет. А что касается Берты, то, может быть, с опозданием, но все-таки до меня дошло, что в чем-то я предаю Боба. Наверно, это трудно понять, а сейчас я просто не способна связно объяснить. Раньше я была такой, какой была. Неважно, что думали другие, но Бобу я была нужна именно такая. И лучше бы мне такой и остаться, это самое меньшее, что я могу, верно?

Я кивнул.

— С нею дом перестал быть нашим домом. Даже спальня, наша постель стали пахнуть по-другому. Она старая дева, и кое-какие вещи, которые замужняя женщина схватывает инстинктивно, ей совершенно непонятны. Все это очень сложно, Шарль. Я совсем подпала под ее влияние и даже думать пыталась, как она. Не положи я этому конец, дошло бы до того, что она стала бы чернить самые светлые воспоминания.

— Она разозлилась?

— Заявила, что очень скоро я пожалею о своем решении и прибегу к ней просить прощения, но будет поздно. В качестве вознаграждения я предложила ей небольшую сумму. Она отказалась, но на другой день я попросила привратницу передать ей конверт с деньгами.

Я с подозрением спросил:

— Ты хорошо питаешься?

— Ем, когда хочется.

— Не всухомятку?

Я открыл комнатный ледник. Там был только сыр, два ломтика ветчины в жирной бумаге и маленькая бутылка молока.

— Вот, значит, как ты заботаешься о своем здоровье!

Я поймал себя на том, что говорю ей «ты».

— Сядь, Шарль.

Раньше весь стол был завален шляпками, кусками тканей, лентами; сейчас всего этого было совсем немного.

— Надеюсь, остальных мастериц ты оставила?

Люлю виновато опустила глаза.

— Что, никого не оставила?

— Только Луизу.

— Почему?

— Сперва я выставила за дверь Аделину: у нее одни развлечения на уме. Знаешь, с тех пор, как не стало Боба, они все вели себя одинаково.

Тут Люлю вспомнила о моей связи с Аделиной.

— Я не должна была этого делать? Ты сердисься?

— Да нет же!

— Она познакомилась с одним типом, который служит ночным барменом где-то в районе авеню Терн. Сперва он дожидался ее на улице. Потом взял привычку вваливаться сюда, усаживался у стола и даже шляпу не снимал. Она заявлялась по утрам не раньше десяти, невыспавшаяся, усталая. Я сказала ей, что нельзя одновременно заниматься и тем ремеслом, и этим; она не скрывала, что ее дружок почти каждую ночь поставляет ей клиентов. Ты жалеешь о ней?

— Ничуть!

— Ученица нашла место получше и недалеко от дома, а я никого не стала нанимать. Теперь у меня только Луиза.

— Это она ходит за покупками?

— Я посылаю ее к булочнику и к колбаснику.

— А сама не выходишь?

— А зачем? Что мне делать на улице? Но я не поэтому тебя позвала. Зря, наверно, побеспокоила. Жена не рассердилась? Я и сама могла бы похлопотать, и мне, может быть, сказали бы правду. Ты знаешь доктора Жигуаня?

Это одно из самых известных и уважаемых имен в медицинском мире, причем не только во Франции, но и за границей; вне всякого сомнения, в Европе он крупнейший специалист по раку.

— Живет он на Сен-Жерменском бульваре, — продолжала Люлю. — Вроде это не простой врач, а знаменитый профессор: в день принимает всего несколько человек и только по предварительной записи.

— Правильно. Большую часть времени он занят в больнице и в клинике в Нейи, там он оперирует.

— У меня есть клиентка, маленькая госпожа Ланж, она долго жила на улице Коленкура. Муж у нее архитектор. Года два назад они переехали на Сен-Жерменский бульвар, но шляпки она продолжает заказывать у меня. Я ее не видела с весны. Сегодня она зашла в лавку и между делом спросила:

— Вашему мужу лучше?

Я не поняла ее и сказала:

— Разве вы не знаете, что он умер?

Госпожа Ланж вздохнула:



— Вот уж не думала, что все произойдет так скоро.

— Простите, что вы хотите этим сказать?

Теперь она не поняла и смутилась. Почувствовала, что совершила бестактность, но не знала, какую и как из нее выпутаться.

— Почему вы спросили, лучше ли ему?

— Я полагала...

— Полагали, что он болен?

— Да. Именно. Как-то я встретила с ним на лестнице, он звонил доктору Жигуаню.

— То есть вы видели, что он входил к врачу?

— Да. Это было в начале лета. В июне, потому что первого июля мы уехали на юг.

— Вы уверены, что это был он?

— Совершенно уверена. Тем более, что, встретив его, спросила, как у вас дела, и он ответил, что все в порядке. Мы живем этажом выше доктора. Было это в три часа дня.

Вы догадываетесь, Шарль, о чем я хочу вас попросить? Если этот врач такой занятой, он меня не примет или переговорит на ходу, не выслушав до конца. А если даже выслушает, то, боюсь, не скажет всего, что знает. И я сразу подумала о вас...

Я взглянул на часы. Девять, звонить Жигуаню уже поздно. Он не из тех, кто позволяет попусту беспокоить себя, тем более коллеге. Лет ему примерно шестьдесят пять, но выглядит он старше, вернее, возраст его не угадать. Он видел, как умирали от рака его отец и мать. Его единственная дочь в шестнадцать лет скончалась от редчайшей формы этой болезни, и он самолично дважды ее оперировал.

Глядя на его размеренную походку, расчетливые движения, слыша почти беззвучный голос, можно подумать, что он бережет силы; в известном смысле так оно и есть: он избрал ритм жизни, позволяющий ему вести такую работу, какая не под силу многим молодым. Кроме чтения лекций, он делает по пять-шесть операций в день как в больнице, так и в Нейи, и еще находит время принимать пациентов и в клинике, и дома.

Не завидую ответственности, которую он бестрепетно берет на себя каждый день, выбирая, кого принять, кого нет. Поскольку для него, как и для любого другого, в сутках лишь двадцать четыре часа, он может принять ограниченное число больных, и платных, и бесплатных, а от его выбора зачастую зависит жизнь или смерть человека.

Я немножко оробел при мысли, что придется попросить его о встрече, но все-таки пообещал Люлю завтра же с утра заняться этим. Связываться с ним надо до восьми: стоит ему уйти в больницу, и добраться до него по телефону уже невозможно.

— Вы повторите мне все, что он вам скажет?

— Обязательно.

Не знаю почему, но я был не слишком доволен. Мысль, что Дандюран покончил с собой из-за неизлечимой болезни, пришла мне в голову с самого начала, но я ее отбросил.

— Сейчас я вам сделаю укол это немножко вас поддержит, — сказал я Люлю.

И не дожидаясь ее согласия, начал готовить шприц. Ляжка у нее стала совсем дряблая. Готов голову прозакладывать, что Люлю потеряла килограммов десять.

— И все-таки, невзирая ни на что, постарайтесь есть.

— Когда я буду знать, мне станет легче.

Ей не терпелось увериться, что ее вины в решении, принятом Бобом, нет. Столько недель — месяцев! — уже прошло, а она все терзает себя вопросом, почему Боб ушел из жизни, ничего ей не сказав!

Потом я сделал два визита к больным. Когда вернулся, жена спросила:

— Что там стряслось?

— Люлю узнала, что Боб был на приеме у Жигуаня, специалиста по раку.

— Бедняга.

Я не стал обсуждать этот вопрос. Утром я с некоторой дрожью снял трубку и набрал номер Жигуаня. Ответил он сам. Когда я назвал свою фамилию (она ему известна), он спросил:

— У вас больной?

Я объяснил, что очень прошу всего десятиминутной встречи, когда ему будет удобно, чтобы задать несколько вопросов об одном его пациенте.

— Как фамилия?

— Дандюран.

— Тот, что покончил с собой?

Он уже понял, что я хочу от него.

— Ровно в три будьте в Нейи. Я уделю вам десять минут между операциями.

Приехал я загодя. Направлять своих больных в эту клинику мне доводилось нечасто — она одна из самых дорогих в Париже. Мне предложили подождать в небольшом зале на втором этаже; там на стуле с прямой спинкой сидела женщина лет шестидесяти и, не отрывая глаз от двери, перебирала четки. Не доносилось ни малейшего шума. Было тепло, но тепло казалось искусственным, и вообще возникало ощущение, что ты отрезан от внешнего мира.

В три часа одну минуту в дверях появился Жигуань в операционном халате и шапочке. Он взглянул на женщину, но не промолвил ни слова, и ни один мускул не дрогнул на его лице; надо полагать, объявить результат операции он предоставил сестре.

Мне он сделал знак, и я по коридору проследовал за ним в ординаторскую. Руки он мне не подал. Я вообще ни разу не видел, чтобы он кому-нибудь подавал руку. Кожа у него была белая и гладкая, словно фаянс; к тому же он не делает ни одного лишнего движения и говорит только то, что необходимо, так что вполне понятно, почему на людей, не знающих его, он нагоняет такой леденящий страх.

— Дело в том, — начал я без всякой преамбулы, — что я друг Боба Дандюрана и его жены. Ни она, ни я ничего не знали о его болезни, видели только, что его постоянно беспокоит желудок и он принимает соду. Он покончил с собой, не объяснив причины, не оставив ни письма, ни записки, и теперь его вдова мучается, думая, не из-за нее ли он решился умереть. От вашей соседки мы узнали, что в начале июня Дандюран был у вас на приеме. Полагаю, он не сам к вам пришел?

— Мне позвонил Буржуа и попросил посмотреть его.

— Диагноз подтвердился?

Жигуань кивнул и пояснил:

— Злокачественная опухоль двенадцатиперстной кишки.

Я не стал спрашивать, объявил ли он об этом Бобу, поскольку Жигуань всегда говорит больным правду.

— Опербельная?

— Да.

— Вы согласились сделать операцию?

Снова кивок.

— Он отказался?

— Он спросил, гарантировано ли излечение. Я ответил: вполне возможно, но равно возможно, что через год или десять лет произойдет рецидив.

— Что же он решил?

— Ничего. Сказал, что подумает. А выходя, поинтересовался: «Вероятно, мне потребуется уход и я долго не смогу вести нормальную жизнь?»

В ответ я развел руками.

Больше я его не видел.

Мой разговор с Жигуанем занял всего восемь минут, и, поблагодарив, я удалился. Если Боба послал Буржуа, значит, он знал его раньше и был его лечащим врачом. Мы с Буржуа врачи одного уровня. Вместе были в интернатуре, оба специализируемся на общей терапии, с той лишь разницей, что он устроился лучше — в квартале Мальзерб. Я позвонил ему из ресторанчика на углу.

— В котором часу я мог бы повидаться с тобой, но так, чтобы не ломать твоих планов?

— Через несколько минут я ухожу. Ты не будешь около шести в районе улицы Мадлен?

— Могу.

— Тогда встречаемся между шестью и половиной седьмого на террасе «Вебера».

Когда я пожал ему руку и сообщил, что хотел бы поговорить о Дандюране, Буржуа с явным беспокойством осведомился:

— Ты что, видел Жигуаня?

— Сегодня в три.

— Он не зол на меня? Единственный раз я настоял, чтобы он занялся моим больным, и он согласился, а этот кретин взял и покончил с собой.

— Ты не дружил с Бобом Дандюраном?

— Нет. А ты?

— Да.

— Наверно, он нашел мою фамилию в справочнике или, проходя мимо, увидел табличку на дверях.

— Он часто приходил к тебе на прием?

— Раза три-четыре. Жаловался, что его беспокоит желудок, и я, безуспешно перепробовав обычные лекарства, направил его на рентген.

— Это ты сообщил ему, что у него рак?

— Я не был настолько уверен. Симптомы были неясные. Я признался, что у меня имеются серьезные опасения, сказал, что надо показаться специалисту, и спросил, есть ли у него средства, чтобы обратиться к светилу. И этот верзила сразу так поник, что мне даже стало жаль его.

— Ты не подумал, что он может покончить с собой?

— И в голову не пришло. Иногда такое случается, но чаще всего, как ты сам знаешь, с теми, у кого уже начались боли. Вот поговорил с тобой и вспомнил, что он буквально забросал меня вопросами. Хотел знать, через сколько времени после операции сможет вернуться к нормальному режиму, придется ли за ним ухаживать, какой образ жизни он сможет вести и даже не отразится ли это на его характере. Я тут же поинтересовался, женат ли он. Он ответил, что да.

«Дети есть?» — продолжал я. «Нету». — «Работа у вас тяжелая?» Усмехнувшись, он сказал: «Нет».

«Обещать ничего не могу, но попробую устроить вас на консультацию к профессору Жигуаню. Только заранее предупреждаю: стоять это будет недешево. Если вы не располагаете достаточными средствами, операцию он сделает бесплатно. Телефон у вас есть?» — «Я предпочел бы, если, конечно, вас это не затруднит, сам прийти за ответом». — «Вы не сказали жене?» — «Ни к чему ей это знать».

Вот к все, старина. Я договорился насчет приема. Он побывал там, и я получил от Жигуаня записку с подтверждением моего диагноза. Больше я этого Дандюрана не видел и пребывал в полнейшей уверенности, что им занимается Жигуань, как вдруг в один прекрасный день читаю в газете, что его выловили из Сены. Так оно и было? Утопился?

Мы допили аперитивы, обменялись кое-какими соображениями, касающимися, в основном, профессиональных проблем и наших больных, и на том расстались. На улицу Ламарка я не смог прийти раньше половины десятого, даже вернуться домой пообедать не было времени: у одного из пациентов меня ожидало известие о двух срочных вызовах к больным.

В каком-то смысле я испытывал облегчение: больше не нужно было копаться в истории с Бобом. Теперь я все знал. Но, как часто бывает, когда долго добираться до истины, она показалась мне холодной и печальной.

Конец Дандюрана, в сущности, полностью согласовывался со всем тем, что я знал о его жизни. Бобу была свойственна врожденная сдержанность; она угадывается, правда не столь явно, и у его волевого племянника Жан Поля.

В юности ему случалось быть откровенным с сестрой, но недаром та добавила: «...так, словно он поговорил сам с собой». Она была, в сущности, ребенком и не могла его понять. Взрослому он бы не открылся. Он рассказывал сестре о своей мечте жить в пустыне, затем о том, что хотел бы раствориться среди простого народа.

А с Люлю он никогда не откровенничал, более того, после трех недель совместной жизни заявил, что у нее нет никаких обязательств по отношению к нему и она вольна бросить его, когда ей заблагорассудится. Позже, много позже, он все-таки признался — и то когда Люлю его спросила, — что в самое первое утро в квартире на улице Принца, когда оттуда ушел его отец, понял, что любит ее.

Выражаясь попросту, я все кручусь вокруг да около. Я-то знаю, что точило меня, пока я ездил по визитам. История с Бобом оказалась абсолютно простой, слишком простой. Мне так и слышался голос жены:

— В конечном счете он предпочел избавиться от страданий.

Да и другие скажут то же самое. Однако уверен, что это не так. Я боюсь упрощенных толкований и людей, которые все знают и изъясняются категорическими формулировками.

Во-первых, вероятней всего, что особенно страдать Бобу не пришлось бы, и Жигуань, как бы ни дорожил он своим временем и ни скупился на слова, наверняка бы растолковал ему это. В наше время операция — это совсем не то, что было лет пятьдесят назад, и теперь никто не боится лечь на операционный стол.

Что же касается рецидива, то он мог случиться через год и через десяток лет, так что у Боба хватило бы времени принять решение.

И вот еще что подтверждает мою теорию: Боб сделал все возможное, чтобы уверить нас, будто он внезапно увлекся спиннингом, и все разыграл так, чтобы его смерть предстала как результат несчастного случая.

Пошел он на это не потому, что боялся страданий, нет, просто не хотел выставлять

напоказ свои страдания и все, что считал слабостью.

Он не жалел сил, чтобы жизнь у Люлю была как можно легче. И к нему — к ним! — приходили отвлекаться от мрачных мыслей, омыться беззаботностью и радостью.

В Тийи, в маленьких монмартрских барах — везде, где он появлялся, большой и нескладный, на него смотрели, как на симпатичного шута.

— Умора!

Искрящийся весельем взгляд, приподнятые в улыбке уголки губ...

А разве может быть шут больной, шут страдающий, шут на диете?

Нет, жена меня не поймет. Я постучался в лавку, и Люлю спросила из-за двери:

— Кто там?

— Это я, Шарль.

Она была такая бледная, оцепеневшая, словно ждала от меня приговора.

— Вы виделись с ним?

— И с ним, и с доктором Буржуа, который занимался Бобом до Жигуаня.

— Что они сказали?

— У Боба был рак.

Мое сообщение Люлю приняла со страдальческой гримасой, словно Боб был еще жив и она видела, как он мучается.

— Он был обречен?

— Нет.

— Мог бы жить?

— Жигуань согласился оперировать его.

— И он бы вылечился?

— Возможно, не окончательно, но, во всяком случае, на какое-то время.

— Он не захотел?

Я кивнул, и Люлю все поняла. Она угадала, почему он на это пошел.

— Не верил он в меня.

— Да что вы, Люлю!

— Нет, Шарль. Он не понимал, что я была бы счастлива посвятить остаток жизни заботе о нем. Не хотел делать из меня сиделку. Он ведь всегда относился ко мне, как к маленькой девочке. До самого конца обращался, как с ребенком. Потому и ушел из жизни, не сказав мне ни слова.

Я приобнял ее, и в нос мне ударил запах пота. Она тут же высвободилась.

— Что ж, теперь мы по крайней мере знаем.

Сейчас уже поздно было думать, легче или тяжелей ей стало оттого, что она узнала правду.

— Чуть не забыла. Звонила ваша жена.

— И что передала?

— У вас в кабинете больше часа сидит больная. Утверждает, что ее отравили к она умирает.

Я понял, о ком идет речь. Это одна маньячка, живущая в нижнем конце улицы Мучеников; каждый раз, поругавшись с любовником, она является ко мне и несет одну и ту же чушь.

— До свиданья, Шарль. Еще раз спасибо за все.

— Не за что. Думайте все-таки о своем здоровье, иначе я на вас рассержусь.

Люлю провела меня через лавку, куда падал слабый свет из ателье, выпустила, задвинула засов, повернула ключ в замке.

Пациентке, чтобы избавиться от нее, пришлось дать рвотное, и минут десять, сцепившись обеими руками мне в пиджак и глядя на меня безумными глазами, она вопила, что не хочет умирать.

Жене перед сном я сказал:

— У Дандюрана был рак.

— Так я и подумала.

И продолжала шить.

— А Люлю что сказала?

— Ничего.

Вот и все. Я не стал сообщать ей, что у Люлю осталась всего одна мастерица, что она чудовищно исхудала. Было ясно, что теперь, когда не стало Боба и атмосфера в доме изменилась, жена туда ни ногой. Она только и ждет, когда наконец я покончу с этой историей и навсегда забуду дорогу на улицу Ламарка.

И словно действительно торопясь положить конец всему этому, я на следующий день выкроил время повидаться с Жерменой Петрель. Несмотря на приглашение приходить в любое время, я на всякий случай предварительно позвонил. У Петрелей небольшой особняк рядом с домом, где, помню, я был на похоронах Сары Бернар<sup>[8]</sup>. Я пересек вестибюль, куда выходят двери адвокатской конторы Петреля, и поднялся по белой мраморной лестнице.

Жермена Петрель приняла меня в светлой по-современному обставленной комнате, где стояло множество цветов; из глубины дома доносились негромкие звуки рояля.

— Дочка играет, — объяснила Жермена, приглашая меня садиться. — Выпьете чаю?

Горничная в вышитом переднике и белой наколке принесла поднос с чаем и печеньем.

— Может быть, виски?

— Благодарю, ничего не хочу.

О причине визита по телефону я не сообщил. Жермена сама начала разговор.

— Знаете, после нашей встречи у Сосье меня стали мучить угрызения совести. Я поняла, что на самом деле не сказала вам правды.

У меня такое ощущение, будто я не исполнила своего долга по отношению к Бобу. Я, доктор, неверующая. И тем не менее верю, что мы продолжаем жить в памяти тех, кто нас знал. Вот вы, например, говорили мне о Робере с неподдельной любовью.

Когда вы спросили, каковы были его отношения с папой, я ответила не совсем точно — отчасти потому, что нас слушал мой сын.

На самом деле папа никогда не простил брату разочарования, которое тот ему доставил. А может быть, тут уместнее сказать «унижение»? Папа ведь специально приехал в Париж. Профессора, которые должны были экзаменовать Боба, были либо папиными друзьями, либо учениками. И вдруг его сын наносит им такое оскорбление — не предупредив, не приходит на экзамен, заставляет их ждать...

У папы такое в голове не уместалось. А когда он узнал, что у Робера была женщина, то, естественно, решил, что виновата во всем она, и до конца жизни его невозможно было переубедить.

Признаться, я тоже долго считала ее аферисткой, которая то ли из расчета, то ли по глупости не дала брату поехать в то утро в университет.

Папа ни разу не сказал Роберу: «Выбирай: или я, или эта женщина». Однако всем было

ясно, что Роберу, пока он с ней, нельзя показываться папе на глаза.

Рассказ Жермены почти ничего не изменил, только добавил еще один крохотный штрих к образу Боба, который у меня уже вполне сложился.

— Я ведь пришел рассказать вам, почему он покончил с собой.

— Робер оставил письмо?

— Нет. Я встречался с его врачами. У Робера оказался рак желудка.

— Бедный! Каково ему было! Когда у него в Пуатье случался грипп, он ни слова никому не говорил и прятался, словно больная собака.

Я встал. Жермена протянула мне руку, ее открытое лицо светилось улыбкой.

— Вот только легче ли от этого его жене?

— Я тоже задаю себе этот вопрос.

— Вам, доктор, может быть, это покажется жестоким, но я обрадовалась тому, что вы мне сообщили.

И, глядя мне в глаза, она заключила:

— Он красиво ушел!

Наступила осень, в Париже стало холодно и уныло. В Тийи «Приятное воскресенье» давно закрылось, и я не видел почти никого из тамошних завсегдатаев: в городе мы встречались с ними только у Дандюранов.

Как-то вечером на Итальянском бульваре я столкнулся с Джоном Ленауэром, и тот силком затащил меня в бар, поскольку испытывал *«жесточайшую жажду»*.

— Люлю видели? — поинтересовался он.

— Видел.

— Как она? Я ведь ни разу не набрался духу сходить на улицу Ламарка. Никогда не знаю, как держаться с людьми, у которых горе.

Джон рассказал, что Ивонна Симар и Рири встречаются в Париже с еще большими предосторожностями, чем на берегу Сены.

— В будущем году там же?

— Видимо, да.

В витринах магазинов были уже выставлены товары к Новому году, а на бульварах установили киоски для праздничной торговли.

Думаю, что так ведется во всех парижских семьях вроде нашей. За семнадцать лет брака мы с женой перебивали в доброй дюжине самых разных компаний, в иные периоды сразу в нескольких, а в иные — только в одной. В течение месяца, полугода, года по два, по три раза в неделю виделись с одними и теми же людьми, приглашали друг друга на обеды, в рестораны, в театр и вдруг — без всяких причин — теряли их из виду. Правда, бывало, что через несколько лет случайно встречались с ними, и отношения возобновлялись.

Иногда это начинается буквально с пустяка. Вот, к примеру, когда жена отдыхала в Фурра, я и Сосье пообедали вместе, а потом мы были приглашены к ним на ужин, где познакомились с Петреями. Вскоре мы пригласили чету Сосье к нам. Я вспомнил о Буржуа и его молодой обаятельной жене и подумал, что Сосье будет рад повидаться с ними.

После кофе мы сыграли в бридж. Вскоре последовало ответное приглашение к Буржуа, затем к Сосье; короче, осень проходила у нас под знаком того, что мы называли «бридж лекарей».

Октябрь и ноябрь пронеслись в сумасшедшем темпе, тем более что младший мой сын тоже подхватил грипп и слегла на неделю жена.

Мы уже начали думать, что будем дарить на Новый год детям. Раз десять я давал себе клятву заглянуть к Люлю, но в последний момент всегда возникала какая-нибудь помеха. Мне было стыдно, тем более что поужинать у Петрелей время у нас нашлось; они были совершенно очаровательны, но разговоров о Бобе на этот раз избегали.

К чему кривить душой? Я дважды выкроил время прогуляться по авеню Терн и обследовать там кое-какие бары в слабой надежде встретить Аделину, но, поскольку мне не повезло, наведаясь к ее подруге.

По утрам свет в доме горел до девяти, а то и до десяти часов, а в моем кабинете из-за того, что там матовые стекла, так и весь день; в три пополудни становилось снова темно, к тому же непрерывно либо лило, либо моросило.

Я и не пытаюсь оправдываться. Мы с женой дважды выбирались в театр. И вот как-то, кажется, сразу после одиннадцатого ноября я все-таки позвонил на улицу Ламарка.



— Алло! Кто говорит?

— Шарль, — ответил я.

Я сразу решил, что Люлю выпила. Голос у нее был какой-то мутный, после каждого слова она запинаясь, словно не знала, что дальше сказать.

— Как поживаете?

— Благодарю, хорошо.

— А жена?

— Тоже.

— Как дети?

— Все прекрасно.

На нее это было не похоже. Я уж подумал, в себе ли она.

— А как вы, Люлю?

После долгой паузы, во время которой в трубке слышалось только дыхание, Люлю ответила:

— Кантуюсь помаленьку.

Если Боб охотно употреблял жаргонные словечки, то Люлю раньше их избегала.

— Вы одна?

— Нет.

Снова молчание, и я в растерянности уже подумывал, не лучше ли повесить трубку.

— Мне тут гадают на картах.

Я понял, кто: омерзительная старуха Кеван, мертвенно-бледная и красноглазая.

— Она предсказывает мне счастье!

Люлю рассмеялась дребезжащим нетрезвым смехом. Я не стал рассказывать жене об этом разговоре.

Незаметно подошел декабрь; пришлось, как всегда в конце года, нанять бухгалтера, который занялся составлением и рассылкой счетов моим пациентам. Он расположился в гостиной, не курил, лишь круглый день сосал желудочные пастилки, и стоило взглянуть на него, как сразу становилось ясно: приближается Новый год.

Я придумывал, как уговорить жену, чтобы она позвала к нам Люлю на встречу Нового года. Я понимал, что если приглашение будет исходить от меня, она не придет. Но и жене придется проявить настойчивость к хитрость.

— Кого ты собираешься пригласить на Новый год? — спросил я.

— Не знаю. А ты?

— Тоже не знаю.

В прошлом году, поужинав вместе с детьми индейкой и уложив их сразу после полуночи спать, мы на всю ночь отправились на улицу Ламарка; в ателье собралось человек тридцать, не меньше, и под утро мы устроили маскарад, перерядившись в то, что оказалось под рукой.

— Грустно будет Люлю, — осторожно намекнул я.

— Нисколько не сомневаюсь, но ведь пока у людей траур, они не празднуют Новый год.

Я не стал настаивать, поклявшись в душе еще вернуться к этой теме.

Но вернуться не пришлось. 15 декабря в четверть девятого утра, когда передо мной стоял голый до пояса старик и я через стетоскоп слушал хрипы в его заложенных бронхах, раздался телефонный звонок; я еще подумал, что он какой-то необычно тревожный и требовательный. Сразу взять трубку я не мог, и звонок продолжал надрываться.

— Это вы, доктор?

Голоса я не узнал.

— Доктор Куэндро у телефона. Кто говорит?

— Луиза.

— Какая Луиза?

— Мастерница у Люлю. Доктор, приезжайте скорей! Позвоните в полицию! Я боюсь. Я даже в дом войти не смею и звоню от мясника. Люлю умерла.

Из жизни она ушла незаметно и тоже не оставила ни записки, ни письма. На постели под ее телом рядом с измятой фотографией пятнадцатилетней давности, на которой были сняты они с Бобом, обнаружили пустой тубик из-под снотворного.

Подожди она несколько недель, и ей бы не понадобилось никаких таблеток: весила она не больше, чем десятилетний ребенок.

— Все время я уговаривала ее поесть, — рассказывала Луиза. — А она только головой трясла. Теперь-то я уверена, что она отказывалась нарочно: хотела уморить себя голодом.

Я тоже уверен в этом. Но смерть все не приходила, а встречать Новый год без Боба Люлю не хотела.

А может быть, теперь, когда Боб не поддерживал ее, она боялась опуститься и стать недостойной его.

Ведь именно для того, чтобы удержать себя от падения, она выставила мадемуазель Берту за дверь. А чуть погодя снова открыла ее для Розали Кеван.

И Люлю решила уйти, пока не поздно.

# Жорж Сименон

## ИСКУССТВО РОМАНА

### Интервью

Сименон. Для меня оказался чрезвычайно полезным один совет профессионального литератора. Дала его Колетт. Я писал тогда рассказы для газеты «Матен», а она работала литературным редактором. Как-то я принес ей два рассказа; она их вернула, и я принялся за переделку. В конце концов она сказала: «Послушайте, они слишком литературны, все еще слишком литературны». Я последовал этому совету. Теперь я ему следую всегда, это моя главная забота.

Интервьюер<sup>[9]</sup>. Что вы подразумеваете под словами «слишком литературны»? Вы что-нибудь убираете? Какие-то определенные слова?

С. Прилагательные, наречия — короче, все слова, которые производят впечатление, — и только. Всякую пустую фразу. Если фраза у вас получилась красивой — выбрасывайте. Когда я нахожу у себя в романе что-либо подобное, значит, нужно выбрасывать.

И. Ваше редактирование в этом и заключается?

С. Практически да.

И. А сюжет вы пересматриваете?

С. Что вы! Никогда. Бывают случаи, что в процессе редактирования приходится менять имена: в первой главе женщину зовут Элен, а в последней — Шарлотта; тут я, естественно, ставлю все на свои места. И вычеркиваю, вычеркиваю, вычеркиваю.

И. Что еще бы могли бы сказать начинающим писателям?

С. Писательство считают профессией, но я с этим не согласен. Я считаю, что все, кто не испытывает потребности писать, кто полагает, что может заниматься другими вещами, должны заниматься другими вещами. Писательство — не профессия, а, увы, призвание. Я не думаю, что художник может быть счастлив.

И. Почему?

С. Прежде всего потому, что человек хочет стать художником из-за потребности найти себя. Каждый писатель пытается найти себя в своих персонажах, во всем, что пишет.

И. Значит, он пишет для себя?

С. Да. Безусловно.

И. Отдаете ли вы себе отчет в том, что у вашего романа будут читатели?

С. Я знаю, многих людей так или иначе волнуют примерно те же проблемы, что и меня, и они будут рады прочесть книгу, чтобы найти ответ — если только его вообще можно найти.

И. Если писателю не удастся найти ответ, то, видимо, для читателей все же есть польза от его бесплодных усилий?

С. В том-то и дело. Несомненно. Не помню, говорил ли я вам о чувстве, которое испытываю уже много лет. В нынешнем обществе нет могущественной религии, нет четкого разделения на классы; люди боятся огромной организации, в которой они лишь маленькие частицы, поэтому, читая некоторые романы, они как бы подглядывают в замочную скважину за соседом: есть ли и у него тот же комплекс неполноценности, те же пороки, испытывает ли он те же искушения? Вот что они ищут в произведениях искусства. Я считаю, что сегодня

многие люди ощущают тревогу, пытаются понять себя.

Сейчас очень мало литературных произведений, похожих на те, что писал, к примеру, Анатолий Франс: спокойные, элегантные, утешающие. Напротив, сегодня люди требуют сочинений более сложных, авторы которых пытаются проникнуть в самые сокровенные тайники человеческой природы. Понимаете, что я хочу сказать?

И. Кажется, да. Вы хотите сказать, это происходит не только потому, что сегодня мы лучше разбираемся в психологии, но и потому, что гораздо больший круг читателей нуждается в беллетристике такого рода?

С. Да. Пятьдесят лет назад рядовой человек не разбирался во многих проблемах своего времени. Но тогда он мог найти ответы на многие вопросы. Теперь же он их не находит.

И. С год назад мы с вами слышали, как некий критик требовал, чтобы современный роман возвратился к романтическому стилю XIX века.

С. По-моему, это невозможно, совершенно невозможно. *(Пауза.)* Мы ведь живем в такое время, когда писатель достаточно свободен и может попытаться изобразить персонажи с наибольшей полнотой и завершенностью. Можно, к примеру, показать любовь как прелестную историю — описать первые десять месяцев двух влюбленных, как это делалось прежде. Можно сочинить историю другого рода: он и она начинают скучать — это литература конца прошлого века. И наконец, обладая достаточной свободой, чтобы пойти еще дальше, вы изображаете, как пятидесятилетний человек стремится переиначить свою жизнь, как ревнует его жена и как относятся ко всему этому их дети, — вот вам третья история. Так вот, наша история — третья. Мы не прерываем повествование ни на свадьбе героев, ни когда они начинают скучать, мы идем до конца.

И. Кстати, я часто слышу, как люди говорят о жестокости в современном романе. Я полностью с этим согласен и хотел бы вас спросить, почему вы пишете о ней?

С. Мы привыкли видеть людей, доведенных до предела.

И. Отсюда и жестокость?

С. Более или менее. *(Пауза.)* Мы больше не рассматриваем человека с точки зрения некоторых философов, долгое время наблюдавших его с той позиции, что бог существует и что человек — это венец творения. Мы не считаем человека венцом творения. Мы вплотную изучаем его. Впрочем, некоторые читатели предпочли бы успокоительные романы: там им предложат оптимистическое изображение человеческой природы. Это невозможно.

И. Стало быть, читатели интересуют вас, поскольку им нужен роман для изучения своих проблем? А ваша роль заключается в том, чтобы заглянуть в себя и...

С. Вот именно. Но художнику недостаточно заглянуть в себя, он должен заглянуть в других, опираясь при этом на свой опыт. Он пишет с сочувствием, потому что знает, что другие похожи на него.

И. Если бы читателей не было, вы все равно писали бы?

С. Разумеется. Когда я начинал писать, я не думал, что мои книги будут продаваться. Точнее, когда я начинал писать, я сочинял коммерческие тексты — рассказы для журналов и прочее в этом духе, сочинял, чтобы заработать на жизнь, но писательством я это не называл. И тем не менее каждое утро я понемногу писал для себя, меньше всего думая о том, что это когда-либо будет опубликовано.

И. Вы, безусловно, обладаете достаточным опытом в том, что называете «коммерческой» литературой. В чем разница между ней и литературой «некоммерческой»?

С. Я называю «коммерческими» все произведения, причем не только в литературе, но и

в музыке, живописи, скульптуре — во всех искусствах, — которые специально создаются или для конкретного читателя, или для определенного вида публикации, или для какой-то серии произведений. Конечно, коммерческая литература очень разнородна по уровню. Попадают вещи просто скверные, а попадают и очень хорошие. Произведения, издающиеся в серии «Книга месяца», например, относятся к коммерческой литературе, однако среди них бывают просто превосходные книги, почти художественные произведения. Не совсем, но близкие к тому. То же можно сказать и о журналах; там тоже встречаются отличные вещи. Но произведениями искусства их можно назвать очень редко: нельзя создать произведение искусства, имея целью удовлетворить какую-то определенную категорию читателей.

И. Но как это отражается на книге? В качестве автора вы знаете, что роман предназначен, скажем, для определенного рынка; но в чем увидит разницу читатель?

С. Основное различие заключается в уступках. Создавая коммерческое произведение, всегда приходится идти на уступки.

И. Говоря, например, что жизнь спокойна и приятна?

С. В нравственном плане — тоже. Это, быть может, самое важное. Нельзя создать коммерческое произведение, не придерживаясь определенных правил. Они есть везде — в Голливуде, на телевидении, на радио. Вот сейчас у нас есть очень хорошая телевизионная программа. По ней демонстрируют хорошие пьесы. Два первых акта всегда великолепны. Они оставляют впечатление чего-то совершенно нового и сильного, но в конце делается уступка. Это не обязательно счастливый конец; просто все подгоняется под какую-то определенную мораль или философию. Все четко обрисованные персонажи на протяжении последних десяти минут полностью меняются.

И. В ваших «некоммерческих» романах у вас нет необходимости идти на уступки?

С. Я никогда этого не делаю, никогда. В противном случае я не писал бы. Это слишком мучительно, разве что ты готов на все.

И. Вы показывали мне большие конверты, на которых всегда начинаете писать свои романы. Сколько времени вы сознательно обдумываете план романа, прежде чем начинаете писать?

С. Как вы заметили, здесь нужно различать работу сознательную и бессознательную. У меня всегда есть в голове две-три темы — это еще не романы и даже не замыслы. Я не думаю о том, смогут ли они послужить мне при создании романа. Скорее, это нечто такое, что беспокоит меня. За два дня до того, как усесться писать, я уже сознательно выбираю одну из этих тем. Но прежде чем ее выбрать, я должен найти атмосферу. Сегодня, к примеру, пасмурно. Такая погода может напомнить мне весну в маленьком итальянском городке, или где-нибудь во французской провинции, или в Аризоне, потом у меня в голове постепенно рождается маленький мир, в котором живут несколько персонажей. Они частично представляют собой знакомых мне людей, а частично вымышлены. Это как бы смесь тех и других. И вот идея понемногу начинает выкристаллизовываться, а связанная с этими людьми проблема дает мне роман.

И. Все это происходит в течение нескольких дней?

С. Да, нескольких. Начав, я не могу очень долго ждать; на следующий день запасаясь конвертом, телефонным справочником, откуда беру имена, и картой города — чтобы точно видеть, где происходят события. И дня через два приступаю. Начало работы у меня всегда протекает одинаково — я словно решаю геометрическую задачу: даны такой-то мужчина и

такая-то женщина в таком-то окружении. Что может с ними произойти такого, что заставит их раскрыться до конца? Так ставится вопрос. Иногда бывает достаточно незначительного происшествия, пустяка, чтобы изменить всю их жизнь. И затем я пишу роман, главу за главой.

И. А что вы записываете на конверте, задумывая роман? набросок сюжета?

С. Нет, что вы. Я никогда заранее не знаю, что произойдет в книге. На конверте я записываю лишь имена персонажей, их возраст, фамилии. Понятия не имею, что произойдет с ними дальше. В противном случае мне было бы неинтересно работать.

И. Когда же события начинают вырисовываться яснее?

С. Накануне первого дня я знаю, что произойдет в первой главе. Затем, день за днем, глава за главой, события разворачиваются. Начав роман, я пишу по главе в день, причем не пропускаю ни одного дня. Мне нужно поддерживать напряжение, следить за ритмом романа. Если, к примеру, я два дня проболелю, мне приходится уничтожать написанное. И к этому роману я больше не возвращаюсь.

И. Сочиняя «коммерческие» романы, вы работали по такому же методу?

С. Нет, отнюдь. Когда я работал над «коммерческим» романом, я думал о кем, лишь когда писал. Но сейчас, когда я пишу роман, я ни с кем не вижу, не разговариваю, не отвечаю на телефонные звонки — живу буквально как монах. Весь день я — один из моих персонажей, я ощущаю все, что ощущает он.

И. Вы чувствуете себя одним и тем же персонажем в течение всей работы над романом?

С. Всегда: в большинстве моих романов описывается все, что происходит вокруг главного героя. Других персонажей я даю так, как видит их он. Я должен влезть в его шкуру. Через пять-шесть дней это становится почти невыносимым. Вот вам одна из причин, почему мои романы так коротки; через одиннадцать дней я больше не могу... это невозможно. Мне нужно... Это физически тяжело. Я слишком устаю.

И. Понимаю. Особенно если вы доводите главного героя до предела.

С. Да, да.

И. И вы играете его роль, вы...

С. Да, и это ужасно. Вот почему, прежде чем начать роман — может быть, это покажется нелепым, но это так, — обычно за несколько дней до начала я устраиваюсь таким образом, чтобы в течение одиннадцати дней ни с кем не встречаться. Затем вызываю врача. Он измеряет мне давление и осматривает меня. Потом говорит: «Порядок!»

И. К бою готов!

С. Точно. Я ведь должен быть уверен, что выдержу эти одиннадцать дней.

И. А через одиннадцать дней врач приходит снова?

С. Обычно да.

И. По собственной инициативе или по вашей?

С. По собственной.

И. И что он находит?

С. Чаще всего, что давление упало.

И. Что он думает по этому поводу? Это нормально?

С. Считает, что нормально, но часто так делать вредно.

И. Он вас ограничивает?

С. Да. Несколько раз он говорил: «Ладно, но после этого романа два месяца не работайте». Вчера, например, спросил: «Сколько романов вы хотите написать до летнего

отдыха?» Я ответил: «Два». «Согласен», — сказал он.

И. Теперь мне хотелось бы спросить вот о чем: не изменились ли со временем взгляды, которые вы высказывали в своих книгах?

С. Это заметил не я, а некоторые французские критики. Всю свою жизнь — литературную жизнь, если можно так выразиться, — я ставил в своих романах определенные проблемы и примерно каждые десять лет возвращался к ним, рассматривая уже под другим углом зрения. У меня сложилось впечатление, что ответа я, вероятно, не найду никогда. К некоторым проблемам я возвращался более пяти раз.

И. И чувствуете, что вернетесь еще?

С. Да, вернусь. С другой стороны, есть проблемы — если их можно так назвать, — к которым я наверняка никогда не вернусь, поскольку мне кажется, что с ними я покончил. Они меня больше не интересуют.

И. Назовите какие-либо проблемы, к которым вы уже обращались и думаете обратиться снова.

С. Одна из них — она преследует меня настойчивее других — это проблема взаимопонимания. Я говорю о взаимопонимании между двумя людьми. Нас на земле бог знает сколько миллионов, и, однако, взаимопонимание, полное взаимопонимание между двумя из нас невозможно. Вот, по-моему, одна из самых больших трагедий нашего мира. Когда я был маленьким, это меня ужасало. Я чуть не выл от горя. У меня появлялось ощущение такого одиночества, такой отчужденности! К этой теме я обращался великое множество раз. Однако я знаю, что она придет ко мне опять. Обязательно придет.

И. А другие?

С. Еще можно назвать тему бегства. В течение двух дней полностью изменить свою жизнь: уйти, не беспокоясь о том, что существовало раньше. Понимаете, что я хочу сказать?

И. Начать все сначала?

С. Даже не начинать сначала. Уйти в никуда.

И. Понятно. Затронете ли вы одну из этих тем в вашем будущем романе? Или я не должен об этом спрашивать?

С. Одну из них — в какой-то мере. Это будет что-то об отце и ребенке, о двух поколениях, о человеке, входящем в жизнь, и человеке, который из нее уходит. Не совсем так, но пока я вижу все это не настолько отчетливо, чтобы говорить подробнее.

И. Эта тема может быть связана с отсутствием взаимопонимания?

С. Конечно, это другой аспект той же проблемы.

И. А к каким темам вы не намерены больше обращаться?

С. Думаю, что одна из них — это тема распада единства; под единством я подразумеваю семью.

И. Вы часто затрагивали эту тему?

С. Раза два-три, может быть, больше.

И. В романе «Педигри»?

С. Да, в «Педигри» она присутствует. Если бы мне пришлось выбирать, какую из написанных книг оставить, «Педигри» я бы не выбрал.

И. А какую?

С. Будущую.

И. А потом следующую?

С. В том-то и дело. Всегда ждешь следующую. Понимаете, я чувствую, что еще далек от

цели, даже с технической точки зрения.

И. Если отставить в сторону будущие книги, какой из опубликованных романов вы сохранили бы?

С. Никакой. Когда роман заканчивается, у меня нет чувства, что он удался. Я не отчаиваюсь, но отдаю себе в этом отчет — и хочу попробовать снова. Но тут есть одна деталь: хоть я и отношусь ко всем романам одинаково, все же какая-то градация существует. После серии из пяти-шести книг появляется — я не люблю слова «прогресс», — мне кажется, что появляется прогресс. Мне также кажется, что написана она лучше. Да и среди этих пяти-шести романов какой-нибудь один я предпочитаю другим.

И. Какой из опубликованных вами романов вы предпочли бы?

С. «Братья Рико». Эта история могла бы быть написана не про гангстера, а про какого-нибудь всем нам знакомого кассира из банка или школьного учителя.

И. Вы имеете в виду ситуацию с человеком, которому угрожают и который делает все возможное, чтобы сохранить свое положение?

С. Верно. Человека, желающего властвовать в маленьком обществе, в котором он живет. Человека, который пожертвует всем, чтобы остаться на своем месте. Он может быть очень честным, но ему пришлось приложить столько усилий, чтобы добиться своего положения, что отказаться от него он уже не в силах.

И. Мне нравится простота, с которой достигнут такой эффект.

С. Я старался написать его очень, очень просто. И заметьте, в нем нет ни одной «литературной» фразы. Он написан словно бы для детей.

И. Вы упоминали о том, что ищете атмосферу, когда задумываете роман.

С. Под «атмосферой» я понимаю нечто вроде «поэтической обстановки». Вам ясно, что я хочу этим сказать?

И. Это род умонастроения?

С. Да. И вместе с умонастроением начинает работать мысль, появляются подробности. Вначале это почти как музыкальная тема.

И. И тут же нужно обязательно определиться географически?

С. Совсем нет. Для меня главное — атмосфера, поскольку я пробую — и, по-моему, пока безуспешно, потому что это обнаружили бы критики, — я попытался поступать с прозой, с романом так, как обычно поступают с поэзией. Я хочу сказать, что пытаюсь проникнуть по ту сторону конкретных и понятных идей и исследовать человека, а не звучание слов, как это пробовали делать в поэтических романах начала века. Я не могу объяснить как... в общем, я пробую сообщить в моих романах нечто, чего напрямую не выразишь. Понимаете, что я хочу сказать? Несколько дней назад я прочел слова любимого мной Т. С. Элиота, он утверждает, что в произведениях одного типа поэзия необходима, в других же — нет: все зависит от сюжета. Я так не думаю. Я полагаю, что одну и ту же скрытую идею можно донести с помощью самых разных сюжетов. Если ваше видение мира устроено определенным образом, вы вкладываете поэзию во все. Но, вероятно, только я сам считаю, что нечто подобное есть у меня в книгах.

И. Вы уже выражали желание написать «чистый» роман. Скажите, вы его имели в виду, когда упоминали о необходимости выбрасывать «литературные» слова и фразы, или же он должен включать и поэзию, о которой вы только что говорили?

С. «Чистый» роман станет тем, чем должен быть роман. Я хочу сказать, что ему не придется обучать читателей или заменять для них газету. В «чистом» романе вы не



описываете на шестидесяти страницах юг Аризоны или какую-либо европейскую страну. Только действие и все то, что составляет его неотъемлемую часть. На сегодня моя концепция романа заключается в том, чтобы перенести правила трагедии на романическую форму. Я считаю, что сегодняшний роман — это то же, что трагедия в древности.

И. Важен ли объем произведения? Входит ли он каким-то образом в ваше представление о «чистом» романе?

С. Конечно. Может показаться, что это мелочь, но я думаю, что объем важен — важен по той же причине, по которой трагедия должна укладываться в один спектакль. Я считаю, что «чистый» роман слишком насыщен для того, чтобы человек мог прервать чтение на середине и продолжить его назавтра.

И. Поскольку телевидение, кино и журналы находятся во власти упомянутых вами определенных моральных канонов, то, насколько я понял, тот, кто пишет чистый роман, обязан писать свободно. Что вы можете сказать о переработке ваших книг для кино и радио?

С. Для нынешних писателей это очень важный вопрос: свобода творчества дает возможность сохранять независимость. Вы спрашивали, меняю ли я что-нибудь в своих романах по коммерческим соображениям. Я ответил отрицательно. Однако следовало оговориться, что это без учета радио, телевидения и кино.

И. Однажды вы мне сказали, что Андре Жид дал вам отличный практический совет относительно одного из романов. Как вы считаете, он в принципе повлиял на ваше творчество?

С. Не думаю. Вообще, с Жидом получилось любопытно. В 1936 году мой издатель сказал, что хочет пригласить нас на коктейль и познакомить, поскольку Жид заявил, что читал мои романы и хотел бы со мной встретиться. Я пошел на этот коктейль, где Жид расспрашивал меня часа два. После этого я виделся с ним неоднократно, он писал мне почти каждый месяц, иногда даже чаще, до самой своей смерти и все время задавал вопросы. Бывая у него, я всегда видел свои книги с таким количеством пометок на полях, что это были уже скорее сочинения Жида, а не Сименона. Об этих пометках я из-за своей робости у него не спрашивал. А теперь уже и не спрошу.

И. Какие вопросы он задавал вам чаще всего?

С. Он спрашивал обо всем, но особенно о технике... мне придется употребить слово, которое представляется мне претенциозным... созидания. Похоже, я понял, почему это его занимало. Мне кажется, что всю жизнь Жид мечтал быть скорее созидателем, чем моралистом и философом. Я был его полной противоположностью, именно это его и привлекало. Пятью годами раньше у меня произошло то же самое с графом Кайзерлингом. Он написал мне в том же духе, что и Жид. Пригласил к себе в Дармштадт, Я поехал, и он трое суток задавал мне вопросы. Он приезжал ко мне в Париж, опять задавал вопросы и комментировал каждую мою книгу. Все по той же причине. Кайзерлинг называл меня «глупым гением».

И. Я вспоминаю, как однажды вы мне рассказали, что вам случалось вставлять в ваши «коммерческие» романы «некоммерческий» отрывок или даже главу.

С. Да, для практики.

И. В чем эта часть отличалась от остальной книги?

С. В такой главе вместо того, чтобы просто рассказывать историю, я пытался ввести третье измерение — не обязательно во всю главу, а, к примеру, придать его чему-нибудь конкретному — комнате, стулу. Это проще объяснить в терминах живописи.

И. Каким образом?

С. Дело в придании весомости. Коммерческий художник пишет плоско: его картину можно проткнуть пальцем. У настоящего художника не так: например, яблоко, написанное Сезанном, весомо. Три мазка — и яблоко наливается соком. Я пытался придать моим словам ту же весомость, какую Сезанн придавал яблоку. Вот почему я почти всегда употребляю конкретные слова. Пытаюсь избегать слов абстрактных, поэтических, таких, как, например «сумерки». Это очень мило, но ничего не дает. Понимаете? Чтобы не было мазков, которые ничего не добавляли бы в третье измерение. Кстати, я убежден: то, что критики называют моей «атмосферой», есть не что иное, как импрессионизм в литературе. Мое детство прошло в эпоху импрессионистов, я всегда посещал музеи и выставки. Там-то я и приобрел определенную восприимчивость. Я стал одержим импрессионистами.

И. Вы когда-нибудь диктовали роман — «коммерческий» или любой другой?

С. Нет. Я — кустарь, мне необходимо работать собственными руками. Мне хотелось бы составлять роман из кусочков дерева. Хотелось бы делать персонажи весомыми, трехмерными. И хотелось бы создавать образ человека, в котором каждый, хорошенько всмотревшись, отыщет свои собственные проблемы. Потому-то я и говорю о поэзии: моя цель больше походит на цель поэта, нежели романиста. У моих персонажей есть профессия, есть свои особенности; всегда известен их возраст, семейное положение и так далее. Я пытаюсь сделать каждый персонаж тяжелым, как статуя, хочу, чтоб он был братом всех людей на земле. *(Пауза.)* И мне доставляют радость письма, которые я получаю. В них никогда не говорится о красоте моего стиля; письма, которые ко мне приходят, человек пишет своему врачу или психоаналитику. В них содержится примерно вот что: «Вы меня понимаете. Я так часто нахожу себя в ваших романах». Затем следуют страницы откровений, причем речь тут не идет о людях слабоумных. Конечно, попадаются и такие, но большинство, напротив, люди, которые... Бывают даже люди с положением. Это меня удивляет.

И. Какая книга или автор произвели на вас особенное впечатление в молодости?

С. Сильнее всех меня поразил, вероятно, Гоголь. И, разумеется, Достоевский, но меньше, чем Гоголь.

И. Как вам кажется, почему вас заинтересовал Гоголь?

С. Потому что его персонажи — обычные люди, которые в то же время обладают тем, что я только что назвал третьим измерением. Они все окружены поэтическим ореолом. Но не таким, как у Оскара Уайльда, — у Гоголя поэзия присутствует совершенно естественно, примерно так же, как у Конрада. Каждый персонаж весом словно скульптура, — настолько он тяжел и насыщен.

И. Достоевский сказал, что он сам и некоторые его друзья-литераторы вышли из гоголевской «Шинели», я вижу, вы можете сказать о себе то же самое.

С. Да. Гоголь. И Достоевский.

И. Как-то мы с вами обсуждали один судебный процесс, имевший место несколько лет назад, и вы сказали, что часто с интересом следите за газетными материалами такого рода. Потом добавили: «Из этого я когда-нибудь, возможно, сделаю роман». Такое у вас случалось?

С. Да.

И. Вы делаете из таких сведений подборки?

С. Нет. Я говорю, что могу когда-нибудь это использовать, потом забываю, а через

несколько лет случай всплывает у меня в памяти. Подборок я не делаю.

И. В чем, по вашему мнению, принципиальная разница, если таковая существует, между вашими детективными романами, такими, как только что законченный роман о Мегрэ, и более серьезными книгами?

С. Точно такая же, как между картиной художника и эскизом, который он сделал для своего удовольствия, или для друзей, или просто как набросок.

И. В романах о Мегрэ вы наблюдаете персонаж только с точки зрения сыщика?

С. Да. Мегрэ не может влезть в шкуру персонажа. Он верит, объясняет и понимает, но он не может придать персонажу вес, какой тот имел бы в моем романе другого рода.

И. Следовательно, в течение тех одиннадцати дней, что вы пишете роман о Мегрэ, давление у вас особенно не скачет?

С. Нет. Очень незначительно.

И. Вы не доводите вашего детектива до крайности?

С. В этом-то все и дело, И я не испытываю ничего, кроме усталости после стольких часов сидения за машинкой. Ничего больше.

И. Еще один вопрос, если позволите. Заставляли ли вас критические статьи в печати сознательно изменить манеру письма? После того, что вы сказали, думаю, что нет.

С. Никогда. *(Пауза. Он опускает глаза.)* Я очень хорошо знаю, как я хочу писать, и буду писать именно так. Критики же двадцать лет твердят одно и то же: «Пора Сименону написать большой роман, в котором было бы двадцать-тридцать персонажей». Они не понимают. Я никогда не напишу большого романа. Мой большой роман — это мозаика из моих маленьких романов. *(Он поднимает глаза.)* Понимаете?

1967

\* \* \*

«Я считаю, что счастья, как такового, нет. Существует лишь некое равновесие, более или менее устойчивое. У каждого из нас бывают периоды устойчивого равновесия, а потом оно нарушается. Обычно счастьем мы называем то, что уже пережили... реже — то, что переживаем сейчас...»

(Из интервью Жоржа Сименона с Андре Парино, окт. — ноябрь 1955)

Итак, счастье случается лишь «периодами», утверждает Жорж Сименон. Не знаем, согласится ли с ним читатель, но герои его книг, похоже, разделяют точку зрения своего создателя. Их счастье пугливо и хрупко, и удержать его очень трудно. Появление Мартины резко нарушает размеренное течение жизни доктора Алавуана из «Письма следователю», его преследует чувство, выходящее за рамки доступного человеку. «Я сознавал, — признается Алавуан, — произошло чудо, но оно не может длиться вечно, и надеяться на это никаких оснований». Обрывается жизнь Мартины — так навсегда пытается сохранить ее для себя Алавуан. Кончает с собой герой другого романа — счастливчик и жизнелюб Большой Боб. «Большой Боб» — роман с явным подтекстом. О чувствах его герои говорят мало, но их привязанность друг к другу глубока и возвышенна. Словно защищая свою любовь, решается на преступление героиня третьего романа — обворожительная, воздушно-неземная Беби. Для нее невыносима атмосфера семьи, в которой для мужа она всего лишь красивая игрушка.

## **Внимание!**

**Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.**

**После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.**

**Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.**

---

---

notes
-------



Альфонс Алле (1855–1905) — французский писатель-юморист.

Кунард (точнее Кьюнард) — английская судоходная компания, осуществляющая пассажирское сообщение через Атлантику.

Кошен Жан Дени (1726–1783) — парижский кюре, основатель больницы, носящей его имя.



Имеется в виду часть Парижа, расположенная на левом берегу Сены.

XVII округ Парижа населен в основном буржуазией.

Мехаристы — колониальная кавалерия на верблюдах.

Фуко Шарль (1858–1916) — французский миссионер и исследователь Сахары.

Сара Бернар (1844–1923) — знаменитая французская драматическая актриса.

Карвел Коллинз, американский писатель.